

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://seminvitaly.ru/> приятного чтения!

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Они пили водку, спорили о том, что быстрее пьянит – разбавленный спирт или водка. Говорили, что папироса после водки пьянит сильнее, чем две кружки пива. На них была чистая рабочая одежда. Они только что искупались под душем в саду. Душ этот самодельный. Чтобы наполнить его, надо наносить воды из водопроводной колонки. Воду носить далеко, почти целый квартал, к тому же потом с ведрами надо подняться по приставной лесенке и перелить воду в бочку. Короче говоря, особенно не накупаешься. Руки у них были сыростно-белыми. Такими они бывают, если смыть с них глину, налипшую за целый день. Такую глину смываешь, будто отдираешь кожу, обожженную солнцем, и остается новая кожа, еще не тронутая солнцем. Кто-то из них успел прочитать дневные газеты. В «Известиях» была статья о долголетию. Какой-то польский профессор сравнивал статистические данные смертности мужчин и женщин за несколько веков. Выходило, что во все века женщины жили дольше мужчин. У женщин «смертность», а у мужчин – «сверхсмертность». Во-первых, война, во-вторых, алкоголизм, курение. Или, может быть, во-первых, алкоголизм и курение, а во-вторых, война...

– Он придет с войны, – сказал Толька Гудков, – а у него пять ран. Когда-то они дадут знать.

– Пей не пей, а если пять ран...

Все-таки войну они хотели бы поставить на первое место.

– Мы же ходим по домам, видим, – сказал Толька.

Все они работают в ДПО – добровольном пожарном обществе. Проверяют в новых домах газовые колонки, в старых – угольные печи. Кладут угольные печи, ремонтируют их.

– Бабки в каждом доме есть, – продолжал Толька, – а дедов почти не видно.

– Но вы их можете просто не видеть, – сказал я. – Все-таки вы ходите по квартирам днем, а днем многие деды работают.

– Да что далеко ходить, – сказал Толька, – поднимите руки, у кого есть отцы.

И он посмотрел на сидящих за столом. На Вальку Длинного, на хозяина дома Женьку, на меня, на Валерку. Никто не поднял руки.

– У меня есть, – сказал Валька Длинный, – ты ж знаешь.

– И у тебя считай, что нет. Он же не с тобой живет.

В это время из коридора открылась дверь, и Женькина мать позвала меня.

– Витя, – горячо и раздраженно заговорила она, когда я вышел к ней, – ты им что-то рассказываешь, а они тебе в рот смотрят. А мне завтра к шести часам на работу. И ребенку негде спать. Накурили. Глаза залили. Пусть расходятся. Посидели – и хватит. Скажи им, ты ж все-таки постарше.

В кухне крикнула девочка, и Женькина мать побежала к ней.

– Да ничего я им не рассказываю, – отнекивался я.

Я еще постоял в коридоре – все думал о том, как Толька Гудков попросил поднять руки тех, у кого живы отцы.

Потом пришла с работы Дуся, Женькина жена, решительно распахнула дверь, сказала:

– А ну, ребята, закругляйтесь! Посидели – и хватит. Дитю негде спать.

– Замолчи! – крикнул Женька. – Ребята на тебя целый день пахали, дом тебе строили.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Знаю, как вы строите, – крикнула Дуська. – Вам лишь бы водки нажраться!

Ребята, обходя Дуську, стали выходить на улицу. Вышел и я. В хате кричали друг на друга Дуська и Женька. Потом раздался звук пощечины, Дуськин крик:

– Унижаешь меня перед своими обормотами, подлец!

– Еще дать? – крикнул Женька и выбежал на улицу. В темноте он почти наткнулся на меня.

– Ты ж сам видел, Витя, – сказал он мне, – ты ж видел! Ребята пахали. Ты сам напахался сегодня. А они с утра еще на работе вкалывали. Кирпич, глина, а после работы ко мне. Плечи же могут полопаться. А она – такое. Ей же строят. Правильно, да? Кто за стакан водки целый день саман таскать будет? Ей все даром делают, а она и тут не может не гавкать!

– Нет, Витя, ты скажи, что мы такого сделали, – подошел Толька Гудков. – Тихо, спокойно сидели. Мы ж не ради водки пришли. А то, что выпили, так это вроде положено. Да? Поработал, ну тебе и поднесли.

– Нет, Витя, ты скажи, в чем я не прав? – спрашивал Женька. – Ну, вот ты так подумай и скажи.

Рядом пытался завести свой «ковровец» Валька Длинный. Мотор мотоцикла не заводился, длинная Валькина нога неуверенно жала на рычаг. Наконец мотор затарахтел, зажглась лампочка, освещающая спидометр, свет от большой передней фары уперся в толстый ствол уродливо остриженной акации – недавно электромонтеры срезали ветки, мешавшие проводам, – высветил кучу глины на углу, угол хаты, в двух комнатах которой совсем недавно жили я с женой и сыном, Женька с женой и дочкой, мать Женьки и моей жены и бабка Женьки и моей жены. Валька Длинный перешагнул через мотоцикл и, как на детский стульчик, уселся на сиденье. Он оглянулся на нас и усмехнулся. Он не считал, что произошло что-то такое, из-за чего стоит так много разговаривать.

– До завтра, – кивнул он.

– А ты никого с собой не берешь? – спросил я.

Длинный оглянулся на Гудкова.

– Нет, – сказал Толька, – он пьян. Пусть сам разбивается на своем драндулете.

Валька усмехнулся. Отталкиваясь длинными ногами, он двинулся мимо акации, обогнул кучу глины и выехал на дорогу. Дорога была немощеной, разбитой грузовиками, мотоцикл вилял, луч прожектора высвечивал проезжую часть дороги от одного темного ряда акаций до другого, но нигде не было видно сколько-нибудь гладкого места.

Валька свернул с дороги на узкий асфальтовый тротуар, газанул, задний фонарик, наливаясь ярким светом, помчался мимо одноэтажных домов.

– Собьет же кого-нибудь, – сказал я.

– Да ничего, – равнодушно сказал Толька Гудков.

– Пусть не ходят, – сказал Женька.

Потом мы провожали Тольку и Валерку, возвращались с Женькой домой. Я мирил Женьку с Дуськой, что-то говорил им, а сам все думал о том, что никто из ребят не поднял руки, когда Толька спросил, у кого живы отцы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В октябре сорок пятого года вернулся домой отец Женькиного приятеля – Васи Томилина. Приехал он часов в десять утра, мать свою послал за женой на работу, а сам, даже не побрившись, сбросив на кровать мешок и шинель, пошел в школу за сыном. В школе было пусто и тихо, он шел по длинному коридору, потрясенный этой тишиной, потрясенный своим счастьем. Он собирался лишь приоткрыть классную

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru дверь, а распахнул ее во всю ширь, щеки его дрожали, когда он, отыскав среди тридцати ребят своего сына, позвал!

– Вася!

Потом он стоял, оглушенный плачем и криком, и не понимал, почему учительница говорила ему:

– Не надо было этого делать...

Какой-то мальчишка, оттолкнув его кулаками, выскочил из класса и побежал по коридору, крича: «А-а!»

Женькина мать работала в школе техничкой, она видела, как Женька бежал по коридору.

– Побежала я за ним, – рассказывала она мне, – Витя, а он выскочил на улицу – и домой. Упал на кровать, бьет кулаками подушку, кричит: «И к Кольке отец приехал, и Петька уже с отцом на рыбалку ходил, и Васька теперь пойдет...» Ну, жалко же его, идиота, скотину.

В «идиотах», «скотинах» Женя ходит давно. С тех пор, как вернулся из армии. Он и сам о себе иногда так говорит: «А вот к вам пришел Женя-идиот».

Он прекрасно понимает, что лучше всего засмеяться над собой первым...

– А ведь я, Витя, не хотела, чтобы он родился. Ирка тогда было уже четыре года. Хватит с меня, думаю, детей. Хиной его травила. По два часа в горячей ванне сидела – ходили мы для этого с Николаем в баню. А потом Николай говорит: «Хватит. Будешь рожать. Не могу я больше на это смотреть». Я и родила. А он родился весь в отца, футболист – четыре килограмма двести грамм. И сразу заорал: «Бе-е!» – Она засмеялась. – Ну, думаю, глотка здоровая, грудь мне оторвет. Николай узнал, что Женька весит четыре двести, говорит: «Завтра побежит в футбол играть». А мы с Николаем познакомились на стадионе. Я Иркой была беременна, живот был большой, а все бегала в баскетбол, пока меня раз прямо на площадке не стошнило. Николай меня увел и говорит: «Чтоб больше сюда ни ногой». Я и до сих пор, хоть и пятьдесят мне, хоть и туберкулезом болела, стойку сделаю лучше, чем Женька. Ирка спортивная, натянет свой купальник, начнет во дворе заниматься, а я посмотрю на то, что она делает, и все повторяю сама. На фабрике во время физкультурпаузы наша физкультурница говорит: «Молодые, посмотрите, как Анна Стефановна упражнения выполняет».

Анной Стефановной ее зовут только на фабрике. Дома ее зовут Мулей. Она удивляется.

– Для них, – говорит она об Ирке и Женьке, – у меня другого имени нет. Увидят мою детскую фотографию: «Му-уля стоит!»

Мулей ее зовут и соседи... До войны когда-то это было просто «мамуля». Сегодняшняя Муля с довоенной мамулей не имеет ничего общего.

– ...А Женька попробует стойку сделать – и не может. Ирка над ним смеется, а он стесняется. Слабости своей стесняется. Он и купаться стесняется. Соберется еще мальчишкой купаться, выгонит всех из хаты, окна одеялами занавесит, позатыкает все дырки, а Ирка кричит ему: «А я тебя все равно вижу». Он орет: «Муля, прогони ее!..» Ирка на меня обижается. И всегда обижалась – считает, что я Женьку больше люблю, чем ее. Пусть заведет двоих или троих, тогда узнает, можно ли одного своего больше любить, чем другого. Жалела я Женьку больше, потому что вину перед ним чувствовала. Травила же его, пока он не родился. Он и рос слабым. И мамсиком он был у меня. Ирка – та больше к отцу, и отец к ней. Читать она рано научилась. И вообще самостоятельная. У бабки ее оставишь – она останется. А Женька только со мной. И болел он. Я часто думала, в кого он. Николай здоровяк. Плечи вот какие, грудь борца – борьбой занимался, – бедра узкие. У него только чиряк вскочит или там насморк, а так больше ничего. И я – хоть у свекрови спроси, она меня не любит – подышаю, а не работать не могу. Совсем уж умирала от туберкулеза, детей ко мне не подпускали, а в кровати почти не лежала, не могла. Полежу немного, а потом вскочу, в комнате убираю, во дворе, пока меня Николай в кровать не загонит. И ничего, выздоровела. Потом рентгеном в легких ничего не

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) могли найти. А ведь в тот год умерли брат и сестра Николая. Ее дочку сейчас воспитывает свекровь. У нас тогда в доме эпидемия была. Старший брат Николая всех заразил. Он был такой... особенный, что ли. Ну, справедливый. Я про таких потом только в книжке читала, а в жизни не видела. В горисполкоме работал, пост крупный занимал. С утра до ночи на работе, по командировкам мотался, а у самого зимнего пальто не было. Он и простудился где-то в командировке и на болезнь не обращал внимания, пока уже смерть не увидел. А у него даже не туберкулез, а скоротечная чахотка. Он и жену заразил, и сестру. Жена выжила, а сестра умерла. Я тогда с Николаем поругалась, Николай не хотел, чтобы я детей к своей матери отправила, боялся, чтобы брат и сестра чего не подумали. А я ничего не боялась, только за детей. А сама болела – не боялась и за больными ходила – не боялась. И вообще я болезни не признаю. Во время войны только и спасались огородом, только и жили с него. А у меня под мышками вот такие нарывы, сучье вымя. Руки носила, как крылья, к бокам прижать не могла. А сама утром на работу, а с работы прибегу – и с лопатой на огород. Сколько нас тогда на этот огород было? Моих двое, да свекровь с внучкой, которая после умершей дочки у нее осталась, да мать свекрови тогда еще жива была, да свекор мой, сумасшедший. Какая от них помощь? У свекрови ноги пухнут, свекор под себя ходит. Ирке тогда одиннадцать лет было. «Мама, я пойду с тобой на огород тебе помогать». Ну, пойдём. Отойдём от города километр: «Мама, я устала». Посажу ее в тачку на мешки. Сидит. Приедем, а она за бабочками погоняется, выдернет две травинки и заснет на грядке. Я ее опять в тачку, впрягусь и привезу домой. Вот и вся помощь.

А Женька с детства был слабым. Сладенькое любил. Ирка и сейчас сладкого не любит и в детстве не любила, а Женька – конфетки, киселек. Это он сейчас грубит, водку пьет, а то был настоящим мамсиком. А сколько раз он помирал! В шесть лет его дизентерия схватила. Полгода на одном рисовом отваре и манной каше сидел. Помирает – и все! Николай одного врача приведет, другого. Профессора какого-то. Диету доктора приписывают, а ему все хуже. И плачет: «Мама, борща хочу». Я не даю, а Николай как гаркнет: «К черту! Видишь же, помирает! Пусть перед смертью съест, чего хочет». Я налила ему борща полную тарелку. Жирный борщ, с кусками мяса. Женька всю тарелку и съел. Я плачу, на Николая обижаюсь – если бы Ирка заболела, он бы так не сказал. А Женька борщ съел, и назавтра ему лучше. – Муля засмеялась. – Поправляться стал.

Она не боится вспоминать и рассказывать страшные истории. И о ком бы она ни говорила – о муже, о сыне, о себе, – всегда в том, что она рассказывает, есть какой-то вызов: «Со мной и не такое было, а это ерунда!»

– ...В сорок четвертом с легкими у него плохо стало. И весь он сделался слабый, доходяга, под ветром шатался. Синий такой, аж прозрачный. Я в больницу, я в военкомат, я в школу. Дали ему место в санаторную школу. Лесной она сейчас называется. Отправила я его туда, и аж легче мне стало. Одного, думаю, пристроила. Два первых дня даже решила к нему не ходить. Тогда в первый же вечер за мной прибегают пацаны, Женькины приятели, стучат в окно: «Тетя Аня, вас Женька зовет». Набросила я пальто на плечи, платок – школа рядом с нами была, это сейчас ее перевели в другой район, – подбегаю к забору, куда мне пацаны показывают, а он раскинул руки, лежит в расстегнутом пальто грудью на снегу и говорит: «Муля, если ты меня отсюда не заберешь, так и буду лежать на снегу». Вот такой зараза был уже тогда.

Муля внимательно смотрит на меня черными, испытывающими, какими-то непрощающими глазами:

– Ничего, что иногда ругаюсь? Я привыкла на фабрике с бабами. Фабрика у нас женская. А бабы без мужиков как соберутся... Только Ирке не говори, а то Ирка у меня принципиальная. Я раньше думала, что лучше моей дочери нигде нет, такая она комсомолка правильная и принципиальная. Аж робела я рядом с ней, аж холодно мне было. Я выругаюсь, а она перестанет со мной разговаривать. Месяц может молчать.

«Ах ты такой-сякой, – говорю я Женьке, – а ну, вставай сейчас же! Ты знаешь, сколько мне стоило выходить тебе путевку в санаторную школу? Человек с ног сбился! Ты знаешь, сколько на это место претендуют? Тебе его дали потому, что на отца похоронная пришла. Отца бы не убило – тебе бы десять лет сюда очереди дожидаться. Дома вон еще сколько людей есть хотя. Ты в школе питаешься, так нам хоть облегчение. Вставай сейчас же, паршивец!» Встал он, а я домой, сварила ему молочный кисель – два литра молока я в тот день как раз достала, сахар у меня был, крахмалу немного, и все на кисель пошло. Принесла ему полную двухлитровую

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) банку. Он мне говорит: «Зачем мне твой кисель? Я домой хочу без твоего киселя». Но банку все-таки взял. Съел он в тот вечер весь кисель. Сначала полбанки, а потом, чтобы кисель не пропадал, остальное. Тошнило его, рвало всю ночь. И скажи ты – до сих пор молочного киселя не ест, а раньше самая любимая его еда была.

Пришлось мне все-таки забрать его из санаторной школы до срока. Каждый день, только с работы приду, уже стучат в окно: «Тетя Аня, идите, Женька вызывает». Прибегаю, а он, паршивец, лежит в снегу: «Забери домой». Или грозится выпрыгнуть из окна третьего этажа.

А потом – не помню уж когда – завел голубей. Загадили весь чердак, и сам, как черт, грязный – в паутине, в перьях, в пыли, в саже. Водить пацанов с разных улиц стал в хату. Я ему говорю: «Продай голубей или я их переведу к черту». – «А я, говорит, хату спалю». Товарищи у него появились – дураки-голубятники по двадцать, тридцать лет. Дела у него с ними – голубей меняют, выкупают друг у друга, если к чужим залетит. Один раз просит у меня пять рублей. «Зачем тебе, Женья?» – «Надо». – «Зачем?» – «Надо!» – «Ты знаешь, как человеку пять рублей достаются? А ты – пять рублей!» – «Я должен». – «А ты скажи тому, кому должен, что мать у тебя уборщицей в школе работает, что у нее таких денег нет и что она не может платить за твоих голубей столько денег. Вот возьми рубль и отдай ему». Он взял у меня из рук рубль да вот так его передо мной на мелкие клочки, а потом все это в кулак – и бросил мне в лицо. «На тебе твой рубль!» Да так по блатному: «Н-на», – говорит. И даже не «на», а «нэ тэбэ». Ах ты, гад сопливый! Все во мне перевернулось. А это на улице было, при людях. Я его по морде, по морде. «Я тебя, говорю, больше знать не желаю. Ты мне не сын и домой не приходи». Он убежал. Весь день и весь вечер его дома не было, а ночью слышу стук в дверь. Выхожу в коридор, спрашиваю: «Кто?» – «Теть Аня, откройте, это мы с Валеркой», – голос Васи Томилина, Женькиного товарища. «Чего вам? От Женьки пришли? Так нам говорить не о чем. Так ему и передайте». Слышу – шепот. Потом Васька опять: «Теть Аня, да вы на минутку откройте, я вам что-то хочу сказать». Приоткрыла дверь, а Женька – раз в щель; пробежал в комнату, забился в угол и сидит. Ну, извинялся: «Муля, я погорячился», обещал учиться на одни четверки, помогать дома.

И правда, помогал, печку топил, смотрел, чтобы горела, пока я с работы приду. А понимать, как деньги достаются, так и не научился. С Ирккой они всё смеются надо мной: «Муля, ты колбасу, как портянку, на метры покупаешь?» – мол, такая дешевая. «Муля, твоими яблоками только мостовую мостить». А какую я могла на свои деньги колбасу им покупать? Только ливерную. Сама я ни кусочка колбасы, ни яблока. Утром встану – еще темно, еще они спят, – приготовлю им завтрак, бабке, матери своей, тоже приготовлю, одному в шкаф положу, другой оставлю на столе, матери – на подоконнике. Напишу на каждой порции записки, а они проснутся, все перепутают и смеются надо мной. Смеются, что у меня погребки, куда я на черный день крупы спрячу, муки, масла. «Муля сама не может найти, куда спрятала». А я и правда не могу. Забита же голова целый день. И то надо, и это. И все для них. Сама я после смерти Коли в одном платье и в одном пальто десять лет проходила. На фабрике, в столовой, надо мной тоже смеются. Как подходит моя очередь, так кассирша говорит: «Знаю, знаю, Анна Стефановна, вы, как всегда, полборща, полкаши и полхлеба». А сколько лет я одной кашей жила! Я и сготовлю – сама не съем.

Во время войны и после, в трудные эти годы, я и менять ездила, и огород держала, и так крутилась. После работы побежишь за Дон к рыбакам, они тебе за пол-литра и накидают ведро рыбы. А я пирожков с рыбой нажарю и на вокзал, к поезду. Один раз Женьку с собой взяла, чтобы помогал нести. Пришли на вокзал, а тут милиционер. Я поставила ведро, говорю Женьке: «Сиди рядом, карауль». А сама бежать. Милиционер ушел, а я вернулась, вижу – ведро стоит, а Женьки нет. Искала, искала его, нашла: «Что же ты целое ведро пирожков бросил?» А он смеется: «Га-га-га! Вот, Муля, ты бежала от милиционера». Смешно ему, как я бежала от милиционера. Даже приседает от смеха...

А голубей его кот передумал. Был у нас такой здоровый кот Васька. Поцарапанный весь. Охотник, вор. Женька его любил. Кот на Женькин голос шел. Спали они даже вместе. Женька увидел задушенных голубей, залез на чердак и плакал там: «Голубчики мои...» А кота с тех пор смертным боем бил. Кот как увидит его, так фырчит. Видеть Женьку не мог.

И с бабкой, моей матерью, он каждый день дрался. Мать моя, даром что у нее

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) семеро нас было, детей не любит. Я дам Женьке, Ирке по конфете, а она ревнует: «Им даешь, а мне жалеешь!» – «Да это ж дети! Детям же, мама!» – «А что, говорит, душа у нас не одна?» – «Да я ж сама ни одной не съем!» – «Вот и дура, говорит, ешь, пока сама хозяйка, а потом никто тебе не даст». – «А я, говорю, всегда сама себе хозяйка буду. Я никогда на иждивение детей не пойду. И не для них я это делаю, а для себя». Я пока с ней поговорю – из себя выйду. Глухая же, кричать ей надо. Я и ору, надрываюсь. Как в сумасшедшем доме, честное слово. Целый день у нас крик. Женька ее и ненавидел. Она у него конфеты ворует, а он ее дразнит, пакости ей строит. Она во двор выйдет, а он в хате запрется, будто ушел из дому и ключ с собой унес. Это ему цирк. Он хочет посмотреть, как бабка будет в форточку лезть. Под шестьдесят ей тогда уже было, худючая, страшная, а сильная и ловкая! Витя, ты не поверишь! Она ведь, точно, в форточку лазила. А помогать мне дома не хотела: «Голова болит...»

Муля смотрит на меня:

– Грешница я, да? Не люблю свою мать... Но уж если Женька ей в руки попадался, она его своими деревянными ручищами! Видел, какие у нее пальцы? Как пики. Она его, а он ее. Она его руками под бока, по заду, а он ее коленками, зубами, чем придется. А вырвется – чем-нибудь в нее запустит. Он-то все-таки моложе, увертливее. Я приду с работы, а она мне жалуется: «Голова болит, Женька ударил». – «Мама, да он же дитя еще. Вы же в два раза больше его. У вас же и в библии написано про детей, что в них царство небесное или уж я не знаю, как там». Видел, Витя, у нее коричневая книжечка? Переплет от биографии Сталина, а внутри библия? Пошутили над ней или просто так получилось – не знаю.

Она год перед этим у моего однорукого брата Мити жила. Она должна была у него два года прожить, но он не дождался срока, отправил ее ко мне. Митя двадцать лет жил с женщиной, которая лет на десять была старше его. Она умерла, а он женился на молодой. Пишет мне: «Аня, дай хоть последние годы пожить для себя». Боится, что молодая жена не захочет жить с бабкой. Ну, жалко его. Он безотказный такой. Руку ему на фронте оторвало, а он и с одной рукой и столяр и плотник. Он еще до войны у первой своей жены на квартире стоял. Она ему готовила, стирала, а потом и окрутила. Он все собирался уйти от нее, да жалко ему ее было. А потом сын появился – он и вовсе о разводе бросил думать. А теперь вот на старости лет женился на молодой. И другие мои братья тоже от бабки отрешиваются: негде, некуда, не с кем. Одной Муле есть где и есть куда – вали всех до кучи!

Так вот она от Мити привезла эту библию. Я вначале испугалась, хотела содрать переплет, а потом подумала – да черт с ним! А бабке и вовсе все равно, лишь бы переплет хороший.

Я ей говорю: «Мама, вы же библию читаете, как же вы можете детей не любить? Чего вы с ними деретесь?» Она говорит: «Это Женька. Ира меня не трогает». А Ирка, правда, никогда ее не трогала, хотя бабка и у нее конфеты воровала. Ирка и промолчит. И мне ничего не скажет. А Женька так не мог. Женька лез на рожон. Но и на бабку никогда не жаловался.

А вообще он был не жадный. В сорок четвертом году на вокзале было много беженцев – возвращались домой. Едут-едут из Сибири за фронтом. С детьми, с вещами, без вещей. Голодные, босые – кто как. Кто с билетом, кто без билета. На товарных, на воинских эшелонах, редко кто на пассажирском. Довезет их воинский или товарный до нашего города – они и слоняются по вокзалу, пока их на новый не посадят. Я с пирожками пойду на вокзал, а они пирожки глазами едят. Ну, я кому и раздам. Один раз мы с Женькой ходили, он говорит: «Муля, дай вон той тетке пирожок, у нее дети». А там вшивое такое, грязное, больное. Смотреть страшно. Да не ее, дуру, мне жалко, а детей жалко. «Куда едешь?» – «На Украину». – «На Украину! А детей довезешь?» – «Як бог даст». – «Дура ты, дура!.. Возьмем их, Женька, домой? Пусть хоть ночь переспят?» – «Бери, мать». Привела я их вот сюда, поставила на печку ведро воды, еще кастрюлю: «Раздевайтесь!» А ей, дуре, и переодеться не во что. Трое суток у нас жили, а потом я ее на вокзал проводила, сама на поезд сажала. Ничего, доехали. Потом года три письма писала.

Жалко-то жалко, а и некогда было жалеть. Себя некогда пожалеть. Испугаться за себя некогда. Немцы, когда в первый раз пришли, народу на вокзальной площади положили – и военных и беженцев! Бабы мне говорят: «Аня, нет ли и твоего Николая там?» Я и побежала. Как увидела эту площадь – боже ты мой! Немец на меня автоматом, кричит по-своему, а мне хоть бы что. Иду от мертвого к мертвому, в

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru лица им засматриваю. И после страху этого было столько, что я перестала различать, где страх, а где не страх.

Менять едешь – страху натерпишься. Возвращаешься – еще больше страху: как бы кто продукты не отобрал. Раз с тремя бабами сели в товарный эшелон, закрылись со своими мешками в тормозной будке и сидим. На какой-то остановке в окошечко видим – немец по ступенькам лезет. Поезд тронулся, а он за ручку двери дергает. Я говорю бабам: «Держи!» Он дергает, а мы держим. Поезд все быстрее, ему там холодно, он сильнее дергает, думает, забито, а мы держим. Потом я говорю бабам: «Бросай!» Они бросили, а немец рванул изо всех сил и на полном ходу полетел под откос.

Приехали мы в город ночью, после комендантского часа, бабы боятся: «Сейчас, Аня, нас из-за тебя схватят. Немцам уже, наверно, сообщили». Поезд остановился, стали мы мешки сгружать, а мой снизу худым был, в спешке я его за что-то зацепила – так вся картошка и поехала на рельсы. Бабы бежать. «Бросай все!» – говорят мне. А я им: «Куда бежать? Куда вы без тачки свои мешки донесете!» Сбегала по балке к одной знакомой за тачкой, собрала всю свою картошку, под утро приезжаю домой, а Женька меня спрашивает: «Муля, ты чего-нибудь сладкого привезла?..» И смех и грех...

Я и до войны не робкая была. С Николаем поженились, а он, года не прошло, на работе стал задерживаться. И вином от него запахло. Я собралась и ушла на всю ночь к подруге. Утром прихожу, он ко мне: «Где была?» – «А тебе какое дело? Ты каждый вечер где бываешь?» С тех пор он побаиваться стал. После работы – домой. А во время войны я и совсем бесстрашная стала. Бандитов ходила с милицией в балку ловить. Тогда по балке трамвай еще не ходил, домов, фонарей не было, темнота; бандиты и нападали в балке на тех, кто поздно из города шел. А при немцах бабы меня старшиной квартала выбрали. «Будешь, говорят, нас выручать, карточек нам добиваться». Я и делала, что могла.

Я и теперь никого не боюсь. На работе к начальнику меня вызовут, бабы говорят: «Читай, Аня, „живые помощи“». А я говорю: «Мои „живые помощи“ – чистая совесть. Никакого начальства я не боюсь».

А Женька робким был. Раз лезут к нам ночью хулиганы. Наш же дом угловой, мужиков нет, забор повален. Стучат: «Откройте!» Я выхожу, спрашиваю: «Кто такие?» – «Откройте, а то хуже будет. Будем фулиганить». – «Я тебе так пофулиганю – улица тесной покажется. Сейчас помоями оболью». Вдруг кто-то мимо меня по коридору промчался. Женька! Я и крикнуть ему не успела, он взлетел на чердак, вылез в слуховое окно да как закричит: «Караул!» Ну, те покидали камни и ушли, грозились на следующую ночь прийти.

А чуть вырос – стал от меня отдаляться. В седьмом классе бросил школу. Учительница меня запиской вызывает. Я пришла в школу, она и спрашивает: «Ваш Женя на работу идет?» – «Как на работу? Я ж разбиваюсь на работе, чтобы он мог учиться». – «А он бросил школу, говорит, идет на работу, а учиться будет в вечерней». – «Не может быть!» Пришла домой, жду его, а он приходит аж поздно вечером. «Бросил школу?» – «Бросил». – «Уходи из дому». – «Муля, я...» – «Уходи, ничего слушать не хочу». – «Да ты послушай, Муля! Ты ничего не понимаешь!»

Согласилась я, дура, на свою голову его слушать. А он наплел мне три короба – мол, это для того, чтобы лучше учиться. Мол, стыдно ему в дневной школе, все привыкли, что он плохо учится, никогда ему не дожидаться высоких оценок, хоть разбейся. И времени у него в дневной школе мало, чтобы догнать ребят, и помочь мне по дому он не может – все время у него занято. «Я ж вижу, Муля, как ты бьешься. Придешь с работы – и печку тебе топить, и обед готовить, и полы мыть. А я тебе и печку растоплю, и воды принесу, и пол когда помою». А он не любил воду носить. Руки слабые. Мужики у нас ведра носят на руках, без коромысла. А он или на коромысле несет, или одно ведро берет и несет, пока от колонки домой донесет, раз десять из руки переложит. Слушаю я его, а сама понимаю – не надо слушать, не надо соглашаться. А согласилась: «Смотри, Женя, учись. Последний раз тебе говорю. Никаких оправданий больше принимать не буду». С полгода так прошло. И правда, несколько раз полы помыл, печку топил. В школу я к нему не ходила. Он сказал: «Если ты в школу пойдешь, я брошу учиться. Это школа взрослых, не позорь меня». Я и решила не позорить. Думаю, пусть все будет на доверии. А как-то вечером меня встречает Дмитриевна, соседка: «Аня, а где твой Женька?» – «В школе». – «В школе? А ну походи на соседнюю улицу, чи не он там с ребятами в

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) карты играет?» Я – на соседнюю улицу, а он еще издали меня заметил – ребята ему на меня показали. «А ну, стой!» – кричу. А он не оборачивается, ходу от меня. Только рожу скорчил, фырчит, как кот. Неудобно ему перед ребятами, что убежать от меня приходится. Вижу – не догнать мне его, поворачиваю – и в школу. Он увидел, куда я иду, да и себе кружной дорогой побежал в школу. Обогнал меня, остановился перед школой, не пускает. Шипит на меня: «Ш-шпионишь? Уходи отсюда, все равно в школу не пушу». И за камень. «На мать?!» Побила я его тогда, а он вырвался – и в школу.

Стала провожать я его на уроки. Несколько раз пошла с ним, а больше времени не хватило. Через неделю соседки мне опять и говорят: «Женька на соседней улице с картежниками сидит. Ругаются. Подойти страшно».

А потом несчастье. Начал он за одной девчонкой ухаживать. Верочка. Хорошенькая такая. Он, даром что слабый, девчонкам нравился. Красивый же! А Верочкин отец увидел их вместе и запретил Верочке встречаться с ним. «Чтоб, говорит, я тебя вместе с тем хулиганом не видел». Женька и пошел к нему объясняться. Да не один пошел, с компанией. С Толькой Гудковым, Валькой Длинным, Валеркой, Васей Томилиным и еще с несколькими оторви-головами. Пришли они, стучатся. А в доме компания. Не то день рождения Верочкиного отца, не то именины, не то просто суббота. Выпивка, в общем. Верочкин отец увидел Женьку, а сам уже подвыпивши, выскочил, кричит: «Мерзавец, негодяй, хулиган, чтоб тебя на километр от моего дома не было». – «Дядя, – говорит Женька, – я с вами по-хорошему поговорить хочу». – «Ты мне еще и угрожать!» Бросился во двор, схватил палку – и на мальчишек. А за ним и мужики, с которыми он выпивал. Свалка там получилась. Женьке голову палкой разбили, а Верочкиного отца ножом кто-то пырнул. Кто пырнул – Женька до сих пор мне не говорит. «Не я, Муля. Поняла? И все». Побили мужики тогда мальчишек, они и разбежались. А мужики опытные – к следователю, на судебную экспертизу, Верочкиного отца в больницу, хоть и порезали его неопасно. Забегалась я тогда. Матери Тольки Гудкова, Вальки Длинного, Томилина – все на меня. «Это твой Женька ребят подбил, это из-за него им в тюрьму идти». Я к Верочкиному отцу в больницу: «Заберите ваше заявление из суда. Вы же первый начали, вы Женьке голову палкой проломил. Мальчишка с вами поговорить хотел. Не думайте, что на суде это вам сойдет с рук», – на испуг его взять хочу. А он мне говорит: «Платите три тысячи рублей, и пусть Женька придет ко мне домой извиняться». Три тысячи рублей! Вот ведь, Витя, люди какие. Сам первый начал, Женьке голову палкой проломил – и плати ему три тысячи рублей. «Вы, говорит, на испуг меня не берите. На суде разберутся, кто виноват. Не мы к ним, а они к нам пришли. Мы мирно выпивали, а они вломились к нам. Хотите замять дело – я, так и быть, молодость вашего сына пожалею. Платите три тысячи рублей и пусть придет ко мне извиняться». Я слушаю и прикидываю – прав он. На суде сразу спросят, кто к кому пришел. Побежала я к матери Гудкова, Томилина, Длинного: «Давайте соберем три тысячи рублей». Ну, Витя, у кого ничего нет и неоткуда взять, кто мне говорит: «Ни копейки не дадим. Твой Женька зачинщик, ты и плати». Пальто я продала, довоенный материал на костюм я берегла до хороших времен – тоже на толкучку пошел. Отдала я эти три тысячи рублей, а извиняться Женька не пошел. Гнала я его, заразу, а он: «Лучше в тюрьму». Сама я за него бегала извиняться.

Я уж Ирку просила: «Возьмись за него». А она мне: «Ты за него все время берешься, а получается что-нибудь? За меня ты никогда не бралась». А не понимает, что если я к ней в тетрадки не заглядывала, то все остальное за нее делала.

А у Женьки скандал за скандалом. Пристали они с Валькой Длинным к какой-то девчонке, та от них заперлась в хате. Так они что придумали – посрывали со всего огорода, который был около хаты, тыквы и сложили их под дверями хаты. А тыквы зеленые. Весь урожай, подлецы, испортили. Мать этой девчонки увидела – чуть жизни не лишилась. Такая же бедолага, как я, без мужа. На эти тыквы у нее вся надежда была. Она ко мне: «Ты мне заплатишь за все! Где отец? Не уйду отсюда, пока отца не дождусь». – «Не дождешься», – говорю. Она смотрит на меня: «Нет отца?» – «Нет». – «На фронте?» – «На фронте». – «Подружка, говорит, ты моя». Сели мы с ней вдвоем на приступочки, обнялись и наплакались.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

А потом Женька вдруг даже выправляться стал. Ты от нашего дома к реке ходил? Аэродром видел? Он тут, рядом с огородами, давно. Еще мы с Николаем ходили на самолеты смотреть. Весной там красиво – трава, тюльпаны, степь же. Пацаны там и крутятся. В футбол играют, на самолеты смотрят, на велосипедах ездят. Места



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) много, аэродром не огорожен, самолеты учебные. Женька и повадился туда ходить. Как утро – на аэродром. Я вначале боялась – совсем учебу забросит, а потом узнала, что в аэроклуб этот ребят принимают только по справке из школы, что «двоек» нет, что успеваемость положительная. Смотрю, Женька учебники листает, заниматься стал, книжки о самолетах домой приносит, чертежи какие-то. Утром поднимается в пять и бежит на аэродром – полеты у них рано, в шесть часов утра. Мне ничего не говорит, считает ниже своего достоинства. Привык перед ребятами свою самостоятельность показывать. Но и со мной стал чаще разговаривать. Шутками все, небрежно, но вижу, и мне ему хочется показать: «Смотри, Муля, Женя у тебя не какой-нибудь идиот».

А тут Вальку Длинного – он на год старше Женьки – в армию забрали, еще дружков из старой компании. Авось, думаю, пути у них разойдутся. Дядька у Женьки есть, замполит летной части, муж моей сестры. Я ему письмо написала, просила, чтобы он Женьке по-своему, по-мужски, по-военному написал. Тот прислал большое письмо. Хорошее, правильное такое. Мне очень понравилось. Про учебу, про то, как трудно мне было без Николая воспитывать двух детей, что Женька должен мне стать помощником, про то, как надо воспитывать характер, чтобы стать военным летчиком. Я Женьке показала, а Женька, подлец, даже читать не стал. Посмотрел и бросил на стол: «Твоя, Муля, работа? Сама и читай».

Но вообще-то он стал лучше. Ирка в тот год университет кончала, читала много, библиотеку на свою стипендию – Ирка всегда получала повышенную – собрала. Женька ее книжками перед ребятами хвастался – Ирка всегда книжек недосчитывалась. Сам стал много читать. «Войну и мир» прочитал, «Анну Каренину», «Золотого тельца» наизусть выучил. Они с Иркой цитатами разговаривали. Ирка смеется: «Женя, я вижу, вы стали образованный. Следы ваших жирных пальцев на всех моих книгах». Она ему в шутку «вы» стала говорить.

Ирка кончила университет, а Женька получил аттестат зрелости и в аэроклубе экзамен сдал. Принес мне свой аэроклубовский диплом, сует под нос: «Смотри, Муля. На, смотри!» В аттестате у него почти все «тройки», а в аэроклубовском дипломе только «пятерки». И по полетам, и по теории, и еще по чему-то. В военкомате его взяли на специальный учет, чтобы направить в летное училище. Ирка смеется: «Вы, Женя, наша Гризодубова, а также Марина Раскова. Стойку на руках вам, Женя, до сих пор слабо сделать». Я говорю Женьке: «Ты напиши с Иркой несколько диктантов, позанимайся с ней физикой и математикой. Ирка пять лет литературу учит, а всю твою физику и математику знает. В училище же экзамены придется сдавать». – «Не твое дело, Муля». До осени ходил на аэродром, а осенью их, аэроклубовских, собрали в военкомате и дали направление в Сибирь, в летное училище. Военком им сказал: «Вы уже почти солдаты. Приедете в училище, пройдете медицинскую комиссию, сдадите экзамены – и сразу у вас присягу примут».

Проводила я его на вокзал, всплакнула, дура, над его остриженной головой, посадила в поезд, а сама собралась и уехала за Иркой в деревню, куда ее направили работать. Уговариваю себя: все хорошо будет, даже успокаиваться начала. Думаю: поживу в деревне, за Иркой поухаживаю, отдохну, а в хату, на свою половину, квартирантов пушу, на деньги, которые с них получу, мебель отремонтирую. Мебель еще ни разу не ремонтировала. Я уже и со столояром договорилась, сколько он возьмет шкаф пошарбовать и лаком покрыть, этажерку отремонтировать, стулья. До войны шкаф светлым был, а тут будто почернел, закоптился. Как в кузнице живем, честное слово.

Приехала я к Ирке в ноябре, кое-как по распутице добралась – там без резиновых сапог шагу нельзя ступить. Одеядо ей ватное привезла, таз эмалированный, кадушку купила капусту солить, примус. С хозяйкой, у которой мы с Иркой жили, подружилась, учила ее и как пирог слоеный делать, и как наполеон, и отбивные... Месяц так прошел, пуржить начало, ветер со снегом, на улице холодно, почта ходит с перебоями, а от Женьки писем все нет и нет. Ирка говорит: «Нет писем, – значит, хорошо. Было бы плохо – написал». Я сама так думаю, а все беспокоюсь. И добеспокоилась – под вечер кто-то стучится в дверь. Дверь открывается... и на пороге появляется сам Женька. Уши белые, на голове фуражечка, весь скривился и говорит: «Перед вами несчастный Мак». В тужееках, в пиджачке, в брюках, а сам храбрится, острит.

Как я и боялась, засыпался на экзаменах. «Ваш брат, Ира, Женя-идиот засыпался на экзаменах». – «Женя, ты хоть бы шпаргалок приготовил». – «Майор мне сказал, шпаргалышкеек нельзя доверить новую военную технику». – «А ты, Женя, пытался

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru шпаргалить?» – «Да». – «И тебе дали по рукам?» – «Дали». А у самого слезы в глазах. И замерз страшно. «Как же ты сюда добирался?» – говорю. «На крыше вагона, Муля». Это он из Сибири в такую-то пургу! А домой сунулся – там квартиранты. Он опять на поезд, потом на попутную машину и к нам в деревню. Но самое главное он приберег напоследок – оказывается, он дезертир! Правда, присягу они еще не принимали, но солдатами уже считались. Его и тех, кто засыпался на экзаменах, направили из летного в авиатехническое или авиапарашютное – не знаю уж, как оно называется, – училище, а они – Женька и еще двое оторвиголов – на какой-то сибирской станции пересели с поезда, идущего на восток, на поезд, идущий на запад. Деньги им на дорогу товарищи собрали, но не столько, чтобы на билеты хватило. Вот они и ехали полдороги в тамбурах, полдороги на крыше.

«Что же ты теперь будешь делать?» – спрашиваю. « Попрошу в военкомате направление в другое училище. Буду еще раз сдавать». – «А там ты не мог пересдать? Попросить начальство?» – «Муля, если бы ты там была, в пять минут выплакала бы переэкзаменовку. У них там получился недобор». – «А чего ж ты не заплакал?» – «Гордость не позволила».

Так пренебрежительно говорит: «Ты бы заплакала, а мне гордость не позволила».

Бросила я Ирку, поехала с ним в город. Он пошел в военкомат, а там у него документы забрали и говорят: «Никаких направлений мы тебе не дадим. Судить тебя за дезертирство будем». Он пришел домой: «Готовь, Муля, торбу, суши сухари». Я – в военкомат. Говорю секретарше: «Я такая-то, хочу поговорить с военкомом». Она пошла в кабинет, возвращается: «Его нет». Грубо мне так говорит: «Его нет». – «Как нет?» А я его, Витя, и в лицо знаю, и по голосу могу узнать. Я ж его со времени войны помню, когда приходила к нему узнавать, как погиб Коля, и когда Женьке путевку добывала в санаторную школу, пенсию на детей оформляла. «У него нет времени». – «Пусть найдет». Тут выходит сам военком – услышал, как я кричу. «Мне не о чем разговаривать с матерью дезертира». – «С матерью дезертира не о чем, а с женой погибшего на фронте есть о чем?»

А мы с ним, Витя, уже не в первый раз ругались. В сорок четвертом топить в хате было нечем, я к нему за ходатайством для угольного склада ходила. Так с просьбой к нему лучше не приходи – за человека не считает! Морду воротит, «тыкает»... А я ему тоже, а он еще грубее. «Ты, спрашиваю, где был, когда моего мужа убили? Морду отъедал в военкомате? Ты кого собираешься судить, на ком политический капитал зарабатываешь, бдительность свою проявляешь? Ты его кормил в сорок первом, ты его от голодной смерти спасал, что теперь судить собираешься?» Пошла я на него, а он только отмахивается. Офицеры из других комнат выглядывать стали, женщины какие-то. А я их не боюсь, кричу свое... Может быть, Женьку и посадили бы, да время уже менялось, кончался пятьдесят четвертый год. Добилась я своего. Военком обещал подумать. Потом сказал: «Пусть на свой страх и риск и за свои деньги едет на Украину, там завтра-послезавтра начнутся экзамены для дополнительного набора. А мы документы подождем».

Купила я Женьке билет, немного денег дала. Говорю ему: «Это Иркины деньги; на обратную дорогу тебе у меня нет. Чтобы больше обратно не приезжал». Опять проводила его на вокзал. Уехал он, а через два дня присылает телеграмму: «Муля, пусть строчно высылают документы». Я побежала в военкомат: «Выслали документы Конюхова?» – «Нет». – «Вы ж обещали выслать». – «Мы не имеем права, запросили облвоенкомат, как там решат». Я – в облвоенкомат. Куда я только не бегала! И в аэроклуб, и в военкомат, и в облвоенкомат. Понимаю, если Женька разорился на телеграмму – значит, положение у него отчаянное. А куда ни прибегу, мне говорят: «Мы не можем решить, придите завтра». – «Да как же завтра, если там уже экзамены начинаются!» Так они мне не говорят «нет». Они говорят: «Вот придет разрешение, мы обсудим и отправим документы». Я в аэроклубе говорю: «Он же у вас был лучшим курсантом, его фотография до сих пор на доске почета, почему вы не поможете ему?» – «Он сам себя наказал. Совершил преступление и теперь расплачивается за него».

Ругалась я с ними, доказывала, а тем временем Женька вернулся. Опять на крыше вагона. Пришла я домой, а он сидит у печки. «Эх, говорит, Муля, не знают они, какого теряют во мне летчика». А у самого озноб, температура. Он неделю ночевал на вокзале, почти ничего не ел.

Он, как туда приехал, пошел к замполиту училища, рассказал ему все: «Разрешите сдавать экзамены, а документы потом подойдут». Тот его внимательно выслушал.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) Вежливо так. Вместе с ним из училища вышел, прошел с ним квартала два, все расспрашивал. Не спросил только, где Женька ночевать будет. А потом говорит: «У нас все места уже заняты, набор полный, но если твои документы придут вовремя, сделаем для тебя исключение. А если документы не придут, сам понимаешь, никто тебя в такое училище принять без документов не вправе». – «Вы запросите документы», – просит Женька. «Нет, – говорит замполит, – запрашивать документы мы не будем. Ты сам понимаешь, что кругом виноват. Но если документы придут, мы для тебя сделаем исключение». Ждал Женька документы, ждал. Экзамены начались, закончились, а документов нет. Пошел он еще раз к замполиту, а тот говорит: «Ничем не могу помочь, не получилось у тебя на этот раз. Приезжай в следующем году. Буду рад с тобой встретиться». Женька пошел на вокзал, кепку на лоб натянул и подцепился на поезд. Так и приехал домой. «Не знают они, Муля, говорит, какого летчика во мне теряют».

Простудился он сильно, долго болел. В армию его в тот год не взяли, дали отсрочку по болезни, а месяца через четыре медкомиссия признала его для летного училища негодным. Он же с детства был слабым, болезненным, а после этой болезни у него с нервами что-то сделалось, легкие стали плохими, желудок. Взяли его в армию на следующий год, но уже не в авиацию, а в стрелковые части. В военкомате ему предлагали: «Хочешь поближе к самолетам? Направим в части аэродромного обслуживания. Механиком будешь». Не захотел. Унижением для себя посчитал.

К Ирке в деревню я уже не вернулась, опять на фабрику пошла. Кожгалантерейную. Она одна у нас в районе такая, где бабы вроде меня, без специальности, работать могут. У нас во всех цехах бабы. Мужиков раз, два – и обчелся. Механики, слесари-наладчики, местком, завком, партком, директор, а все остальные – бабы. Начальство у нас командует, как хочет. Бабу же, если за нее заступиться некому, легче легкого плакать заставить. Ей что ни скажи, что ни заставь, она утрется платочком и тянет с утра до вечера. Я бабам говорю: «Вы берите пример с меня. Я никому не дам себя обидеть». – «Да, говорят, тебе легко. Ты бесстрашная».

Принимали у нас соцобязательства – соревновались мы с кожгалантерейной фабрикой другого района. Ну, как эти соцобязательства принимали? Составили их где-то там у директора или в завкоме, а нам в цех принесли, чтобы мы проголосовали. «Кто за? Кто против? Никого нет?» Я говорю: «Я против». Они даже не поверили, думали ослышались: «Есть кто-нибудь против?» Я говорю: «Я против. У вас там записано снизить себестоимость, на двадцать пять процентов повысить производительность труда... А как повысить? У нас же нет машин. У нас ручной труд. Как вы собираетесь повышать производительность? За счет ускорения ручного труда? Вы запишите: „Обеспечить механизацией повышение производительности труда на сто процентов“ – и я соглашусь на сто процентов». Они мне кричат: «Вы не наш человек!» – «Это вы, говорю, не наши люди». На следующий день вызывают в партком: «Вы говорили, что коммунисты фабрики не наши люди?» – «Это вы – коммунисты?» – спрашиваю. «Смотри, Конюхова, за такие слова! Счастье твое, что теперь не то время. Мы к тебе воспитательные меры применим».

А какие они воспитательные меры ко мне применяют? Заберут выгодный заказ, поставят на невыгодный. С народом ссорят. Я ж, видишь, какая быстрая. Я очень быстро работаю. Организм у меня такой. Я за двоих молодых работаю. На ручном труде какое может быть равенство? Ты здоровый, ты ловкий – для тебя одна норма, для слабого другая. Меня поставят ремешки клепать – я и накидаю за смену кучу, которую двое накидывали. Я, Витя, не могу мало зарабатывать. Женька вернется из армии – ему надеть нечего, бабу кормить надо. И организм у меня такой – не могу я медленно работать. Бабы на меня обижаются, а я им говорю: «Чего вы голосовали за тот договор? Я-то голосовала против! А теперь обижаетесь, что вам нормы режут».

Не любит меня начальство. Не любит, а сделать ничего не может – в должности не понижишь, некуда, план я всегда перевыполняю. И грубить мне боятся. У нас какой директор? Была у нас в цеху пропажа. Ему ошибочно показали на двух работниц. Он прибежал в цех, орал, топал на них. Бабы плакали, а потом оказалось, что бабы эти ни при чем. Нашелся настоящий вор. Так, думаешь, директор извинился перед теми работницами? Когда ему сказали, он отмахнулся: «Все хороши!» Недавно у нас цеховое профсоюзное собрание было. В цеху плохая вентиляция, плохое отопление, сквозняки – разбитые окна по месяцу не вставляются. Начальнику цеха скажем – никакого внимания. Мы решили позвать на собрание директора. Он пришел, послушал нас две минуты и говорит: «Зачем вы меня позвали? Я думал, у вас тут разговор пойдет по большому счету, о том, как родине дать больше продукции, а вы меня

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru отвлекаете от дела. Работать надо лучше».

Бывало, как на заем подписываться, так по цехам крик. К начальнику цеха таскают, в профком, в партком. Я говорю: «Двадцать пять процентов дать могу, а больше ни копейки». Я, Витя, не против займов. Я понимаю – деньги идут не кому-то там в карман, на строительство новых заводов, больниц – я все это понимаю. И хоть трудно мне, говорю: «Двадцать пять процентов могу дать». А они мне говорят: «Подписывайся на сто процентов». Целый день держат в парткоме, у директора завода. «Подписывайся!» Я говорю: «Вы грамотные? Берите карандаш, давайте считать. На что вы меня толкаете?» – «У нас, говорят, все должны подписаться на сто процентов, а ты нам портишь картину. Подпишись, а мы тебе поможем хорошими заказами». – «Вы люди или не люди? Не могу я подписаться на сто процентов». Тут они мне все припомнят: и про то, как я их ругала, и как голосовала против соцдоговора, и как директору нагрубил: «Мы давно видим, Конохова, ты не наш человек». Я им говорю: «С мужиком вы так не поговорили бы, мужик фуганул бы вас по-русски, чтоб перья от вас полетели. Смотрите, а то и я вас пошлю подальше». Так и не подписалась на сто процентов.

А Женька мне теперь из армии покаянные письма пишет: «Муля, я все понял, я понимаю, как тяжело тебе. Учусь на шофера, скоро получу права. Приеду домой, буду работать и учиться. Тебе не придется за меня краснеть. Передай Ирке, чтобы она не обижала тебя, а то мы привыкли над тобой хиханьки да хаханьки, а все потому, что, как ты правильно говоришь, нас жареный петух в одно место не клевал».

Два года ему еще служить. Вот ведь как у него получилось. А в тот вечер, когда он приехал к нам в деревню, Ирка ему сказала: «А ну-ка, Женя, продиктуй мне условия задачи, которую вы не могли решить». Женя продиктовал, а Ирка через две минуты сказала ответ. «Женя, Женя, – говорит она ему, – летать вы научились, с парашютом прыгали, а физику выучить силы воли не хватило».

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мы с Иркой живем у Мули. Когда год тому назад я вернулся в город и Ирка стала моей женой, оказалось, что мои интеллигентные родители со мной и Иркой в своей довольно большой квартире ужиться не могут.

– А куда вам идти, – сказала тогда Муля, – где вы возьмете деньги платить за частную квартиру? Живите здесь. А ребенок появится – кто за ним будет смотреть? В кино отсюда далеко, в театр, но живут же люди.

Так мы и переехали к Муле в маленький четырехкомнатный домик, который, собственно, принадлежит не Муле, а ее свекрови, Иркиной бабушке – бабе Мане. Бабе Мане семьдесят пять лет, она уже составила завещание, в котором по одной комнате отписала Ирке и Женьке, а две других – третьей внучке Нинке, которую она воспитывает с тех самых пор, как умерла Нинкина мать.

Муля недовольна этим завещанием:

– Получается, Колины дети хуже, чем Любины. Им по одной комнате, а Нинке – две. Вы всегда, мама, Колю меньше любили, чем других своих детей. И детей его меньше любите. Да этот ваш дом давно бы развалился, если бы не я. Я его каждый год обмазываю, белю, сколько глины уже перемесила вот этими руками. За что же Нинке две комнаты?

Баба Маня всплескивает руками:

– Да я-то еще не умерла! Меня-то ты куда денешь? Я-то должна где-то жить? Ты же меня еще не похоронила!

И Муля, на секунду запнувшись, смотрит на нее своими черными глазами. В самом деле, баба Маня должна же где-то жить! Комнат всего четыре, а внуков трое, к тому же дом поделен на две половины.

Когда-то давно, когда этот дом строили баба Маня и её муж, в доме было всего три комнаты, и все они были связаны между собой, однако потом, когда Манин сын Николай женился, когда он привел Мулю, перегородку удлинити, третью большую комнату разделили на две, и дом оказался поделенным на две примерно равные половины. Поставили вторую печку, и Муля – это было сделано под ее напором –

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru получила самостоятельность. И сейчас Муля живет на своей половине, а баба Маня с Нинкой на своей, и ничего уж тут придумать нельзя, и никак дом заново не перекроить. Муля это понимает, но согласиться с этим никак не может.

Двадцать лет она живет в этом доме, пятнадцать лет выполняет все мужские и женские обязанности: мажет хату, белит ее, чинит крышу, перекапывает сад, подпирает кольями, связывает проволокой разваливающийся забор – а места ей в завещании не нашлось. И получается, что живет она не у себя, а на жилплощади детей. Никто ее, конечно, не выгонит из дому, но все же есть во всем этом что-то тревожащее Мулю, поэтому-то она и смотрит на бабу Маню такими пристальными, почерневшими глазами, поэтому-то и возвращается часто к тому, как баба Маня несправедливо поделила дом: две комнаты беспутной Нинке и лишь по одной комнате Колиным детям...

– Вот такая она, Витя, всегда беспокойная была, – сказала мне баба Маня. – Мы, Конюховы, спокойные. Ни скандалов у нас, ни суеты, ни крика. Мужа своего я никогда трезвым не видала, от пьяного вставала, к пьяному ложилась, а тоже спокойный. Так, покричит на меня, чтобы я свое место знала – женился он на мне, когда мне было шестнадцать лет, и сам был на шестнадцать лет старше меня, – а чтоб скандалить, такого не было. Я ж такая – рот замкну и ни «да», ни «нет». Пойду в сарай, переплачу – и все.

А ведь жизнь у меня какая? Ни одного светлого дня... Сиротой рано стала, мать за второго вышла, за железнодорожника, а он ей обо мне: «Отдай ее в горничные». Ну, правда, не отдала, отстояла. Шить меня научила. А как мы жили? В поездку уедет отчим, куски сахара пересчитает. Так мы и жили. А потом вышла за Василь Васильевича. Ну что ж, Витя, и отзывчивый он был, и добрый, и пьяный. Всегда пьяный. Но спокойный. Поначалу только скандалил – испытывал меня...

И Коля у меня спокойный был. И старший Петя, и Люба. Все дети были спокойные. Я утром, бывало, работаю, их не бужу, чтобы не мешали мне, они и спят. Маленькими долго спали. А проснутся – тоже их не слышно. Покормлю – они и занимаются своими делами. И выросли – спокойными остались. И не жадные. Пока вместе жили, все деньги отдавали мне, и потом, когда Петя женился, он деньги мне приносил. Я его ругала: «Ты костюм купи себе». – «А зачем он, мама, мне?» Он, Витя, справедливым был. Я на него смотрю – такие раньше на царей покушались. Он был партийный, пост большой занимал, а квартиры себе получить не мог. Все по командировкам ездил. Он и заболел в командировке, кашлял с кровью, а о себе ему некогда было подумать.

А Аня к нам пришла, и все у нас вот так вот сделалось, честное слово, Колю замордувала. То, чтобы он курить бросил – денег много на табак уходит, – то еще что-то. И как что не по ее – обижается, к столу не идет: «Я не хочу кушать». Василь Васильевич на что уж суровый был, сам пойдет к ней: «Аня, идите обедать, мы вас ждем». – «Не хочу, я сыта». Это уже все знают, что что-то не по ее. И Коля сам не свой – и передо мной ему не хорошо, и без нее он не может.

Вот, Витя, есть такая примета, баба стирку затеяла, белье ей сушить надо, а на дворе солнце, погода хорошая – значит, муж бабу любит. Шуточная это примета, конечно. Но скажи ты, когда Аня стирку ни затеет, погода разгуляется, солнце светит. «Это, – говорит она, – Коля меня любит». И правда, Николай ее любил. Я про нее ничего плохого сказать не хочу, она и красивая была, и работающая. Так, как она работает, никто не может. Себя она не жалеет. И замуж после смерти Николая не вышла, хотя молодая еще была и предложения ей делали. Из-за детей не вышла. И блюла себя. Во время оккупации немцы у нас стояли, так один к ней ночью пришел. Она детей с собой в кровать брала, чтобы ее не трогали, а этот все равно пришел. Она ему лоб, нос, щеки – все лицо расцарапала, крику наделала, детей разбудила. Я днем того немца увидела, смеюсь, говорю ей: «Ты, Аня, посмотри, всю жизнь жалеть будешь». Такой немец был здоровый да красивый... Нет, я ничего плохого о ней не хочу сказать.

А вот беспокойная она. Я с ней не могу. Шумная. Бабка, мать ее, глухая как на грех. Начнут они разговаривать – крик в доме. С Женькой разговаривает – кричит. Дом не так поделили... Жизни она мне из-за этого дома не дает. «Я, говорит, этот дом белила, мазала, ремонтировала». Правильно – ремонтировала, мазала, да ведь строили его мы с Василь Васильевичем. Степь тут была тогда, огороды, а к реке – казачья станица. Василь Васильевич получил этот участок, привез меня сюда: «Вот тут, говорит, хата, вот тут огород». Так ведь каждое ведро глины, каждое бревнышко мы с ним своими руками перещупали. А воду откуда возили? Это сейчас

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) колонка за квартал, и мы считаем далеко, а ведь раньше воду с реки бочками возили. Подъедем бочкой к спуску с горы, поставим бочку, подложим под колеса камни, а сами с ведрами за водой. А гора с версту. Плечи полопаются, пока ведрами бочку наносишь. А потом эту бочку еще по степи версты три везти. И опять за водой.

Я сейчас больная да слабая, а раньше здоровая была, так я вся почернела, пока дом строили. Построили его, а он сырой. Бревна клали сырыми. Они сквозь штукатурку и проступали на потолке во время морозов. Топили мы, топили, пока дом высушили. А сад этот? Василь Васильевич привез из питомника сто пятьдесят корней. Так ведь степь, Витя, надо было лопатой вскопать, деревья посадить да все их полить! А ну-ка! Я уж мужу говорю, куда нам этот дом – а строили мы его, Витя, уже перед войной – есть же у нас хибара, заплатили мы за нее деньги, дети взрослые, разойдутся от нас, а нам на наш век хибары этой хватит. «Нет, говорит, будем строить. Хочу в настоящем доме жить. Детям наш дом достанется». Достался! В один год вынесли два гроба. Это ж подумать только – в один год два гроба! Петя и Люба. А в сорок четвертом и Николай.

У меня уж, Витя, все в душе сгорело. Эгоисткой я стала. Я во время войны санитаркой в больнице работала. Ну все делала: горшки выносила, утки подавала, полы мыла, простыни, грязное белье стирала. Все делала, а сама, как сонная, как не своя. Работать сутками могла – все равно мне было. А если кого на носилках понесут, я думаю: «Не у меня одной такое горе. И у других тоже». Нет, Витя, устала я жить...

У бабы Мани красные, опухшие, перевязанные грязными бинтами ноги. Эти толстые, негнущиеся ноги не дают ей нагнуться, присесть на корточки – не выдерживают тяжести большого рыхлого тела. Ранней весной, летом и осенью Маня ходит по двору босиком. И кажется, что Маня не чувствует своими плоскими ступнями ни холода, ни боли – так равнодушно и подолгу она стоит на мокрой земле или ступает по битому стеклу. Случается, что Маня падает. Падает, спускаясь с низеньких порошков или просто на ровном месте. Падает она тяжело, всем большим телом, и не кричит, не зовет на помощь, хотя сама подняться не может. Ждет, пока кто-нибудь выйдет из дому и увидит ее. «Почему ж вы не крикнули, баба Маня? Что ж это такое?!» Маня молча поднимается и только шепотом про себя причитает: «Ох, боже ж ты мой». В бога она не верит: «Если бы он был, Витя, я бы его ненавидела».

Время от времени ноги ее страшно заболевают. Тогда мы вызываем «скорую помощь». «Скорая помощь» приезжает и неохотно забирает бабу Маню в больницу. Неохотно, потому что болезнь бабы Мани неизлечима, как неизлечим ее возраст, как неизлечимо все то, что она пережила за свою долгую жизнь. И сама баба Маня неохотно уезжает в больницу. Не потому, что ей дома хорошо, а в больнице будет хуже – в больнице баба Маня все-таки отдыхает. Дома Мане приходится смотреть за двухлетней Нинкиной дочкой: «Это ж наказание, Витя, не угонюсь я за ней на своих ногах. Она убегает, а я не угонюсь», – а уезжать в больницу баба Маня не хочет, потому что некому смотреть за Нинкиной дочкой. В ясли дочку Нинка не хочет устраивать: «Пусть Наташка будет дома, пусть старуха смотрит».

Мне кажется, что баба Маня безмерно унижена своей великой любовью к беспутной Нинке.

Вот и сегодня нам через стену слышно, как Нинка истерично ругает бабу Маню. Нинка работает кондуктором автобуса, на смену ей надо подниматься в три часа ночи, она не высыпается, возвращается с работы раздраженная. А баба Маня сегодня постирала ей белье и вышивки. Так зачем она постирала! Она не так постирала!

Распахнулась дверь, Нинка влетела к нам. Растрепанная, в слезах, в коротком халатике, остановилась у спинки кровати – к нам здорово не влетишь, от двери до стола, за которым мы сидим, два шага, вытерла рукой щеку под глазом и сказала плачущим, неискренним, ищущим сочувствия голосом:

– Я ж ей говорила: «Отдыхай! Отдыхай!» Сколько можно! Зачем она за мной подлизывает: «Ниночка! Ниночка!» Когда это кончится!

Муля, не поворачиваясь к Нинке – она сидела к ней спиной, – сказала спокойно, буднично:

– Не с... паром, ноги обожжешь.

И Нинка вдруг сразу успокоилась. Еще раз провела рукой по высохшей щеке, взяла стул, запахнула халатик на голых ногах, села к столу и сказала, таращась, – у Нинки, о чем бы она ни говорила, всегда такое выражение, будто она возбужденно таращится:

– Видела Юльку Николаеву. Восемь лет детей не было, а сейчас что-то завязалось. – Нинка показала на живот, – Муж там свой не свой. Еще бы! Дом выстроили, плитусы, трафарет. Вдвоем там бьются головами о стены.

Муля заинтересованно глянула на Нинку через очки. Удивительно видеть Мулю в очках «моя добрая старая бабушка» – с дужкой, перевязанной ниточкой, с давней трещиной на стекле. Муля надевает очки, когда съет при электрическом свете или когда клеит вечерами контрольные талоны, подсчитывает, сколько она заработала у себя на фабрике за неделю. В очках лицо ее становится медлительным, спокойным, и даже нижняя губа как-то раздумчиво и меланхолично выступает вперед.

– Забеременела? Юлька? – переспрашивает она Нинку и на минуту оставляет штопку.

– Забеременела, – возбужденно таращится Нинка и машет на меня рукой: – А ты не слушай, если тебе не нравится.

Потом Нинка поворачивается к Ирке:

– Представляешь, поставила будильник на полтретьего, а он позвонил без десяти четыре. А в четыре надо быть в парке. Я вскочила и бегом. Лифчик как следует застегнуть не успела, похватила, что увидела: сумку, косынку – и на автобусную остановку. Бегу: «Ну все – опоздала». Если дежурный автобус прошел – час ждать. Смотрю – идет, добежала – сердце лопается. Влезла, а там только наши, парковские. Показывают на меня пальцем и смеются. Животы надрывают. А я как на ночь накрутила волосы, локоны тряпками навязала, так с тряпками в голове и в автобус влезла.

Нинка что-то вспоминает, вскакивает, выбегает из комнаты и возвращается с белым свертком в руках.

– Хотела посоветоваться. Вчера встретила отца. Он и говорит: «Что ж это никто на день рождения мне и пол-литра не поднес?» А я и забыла совсем. Думаю, что бы ему подарить? Может, эту рубашку? Как ты думаешь, мужчина?

Я пожимаю плечами.

Нинка почти не жила у отца. После того как умерла Люба, Нинкина мать, Нинка жила на два дома – у бабы Мани и у мачехи. А потом баба Маня и совсем забрала ее к себе. Отец вернулся после войны домой и не стал отбирать Нинку у Мани. Так они и живут с тех пор. Нинка изредка ходит к отцу; с мачехой она дружна и уже несколько раз прибегала ко мне с просьбой оборонить мачеху от отца. Когда отец пьян и буен, Нинка ненавидит его, грозит свести со света, бесстрашно бросается на него с кулаками, называет «идиотом», грозит, обещает, что я через газету отниму у него пенсию и вообще заклею. Когда отец трезв, Нинка забывает о своих угрозах, ходит к нему «смотреть телевизор», разговаривает с ним, но никогда не просит у него совета или помощи. К отцу она равнодушна.

– Да ты посмотри, – говорит мне Нинка и разворачивает рубашку. – Ничего? Белая, правда? Стоит девятнадцать рублей. Подарить?

– Как хочешь.

– Да ты посмотри.

Нинка надевает рубашку поверх халата. Широкая мужская рубашка свисает на ее узких плечах, рукава она долго закатывает. В комнате нет большого зеркала, а Нинке хотелось бы сейчас посмотреть на себя в зеркало. Она делает движение бедрами, как будто смотрится в зеркало.

– Муж скоро из армии вернется, а ты перед мужем сестры задом крутишь, – говорит Муля.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Ничего, от него не убудет, – отвечает Нинка и вдруг решает: – Жалко отцу такую рубашку дарить. Подарю ему пол-литра. Или и так хорошо будет. Пашка вернется, спросит, где рубашка? Он ее уже раз надевал. Или продать ее? Деньги нужны. Продать? – И неожиданно решает: – Подарю или продам. Белая же! Что я ее буду каждый день стирать?!

Нинка уходит, а минуты через две ей на смену приходит Маня. Тяжело садится на стул, поджимает губы и молчит. Молчим и мы. Ирка предлагает:

– Баба Маня, чаю?

Баба Маня молча отрицательно качает головой. Муля вздыхает:

– Деточки! Черти своих не узнали да нам подбросили.

Я говорю.

– Маня, вы бы поели.

У бабы Мани одышка, так она тяжело переживает Нинкины оскорбления. Она говорит:

– Витя, мне умереть хочется! Если б ты знал, как хочется умереть.

Несколько дней назад я зачем-то зашел к Мане. Маня была одна, она лежала на кровати и плакала.

– Что с вами? – испугался я. – Ноги опять болят? «Скорую помощь» вызвать?

– Умру я скоро, – сказала Маня. – Не ем ничего. Сил уже ни на что нет. Разве это я ем? За два дня крошку в рот взяла и насильно проглотила. Нет, Витя, даже на еду сил.

– Вам бы надо отдохнуть, – сказал я, пораженный этими слезами бабы Мани. Бабы Мани, которая пережила и своего мужа, и всех своих детей и от которой я столько раз слышал, что ей хочется умереть. – Вам надо бросить все и уехать в дом отдыха. Мы с Ирккой достанем вам путевку. Что вы, отдыха себе не заработали, что ли?

– А кто Наташку будет смотреть? – безнадежно сказала баба Маня.

– Пусть Нинка ее в ясли устроит. Она же жена солдата. Ее ребенка обязаны взять в ясли в первую очередь.

– Не хочет она, Витя.

– Да что значит не хочет! У вас что – своей воли нет?

У бабы Мани не было своей воли, если чего-то хотела или не хотела Нинка. Вот и сейчас бабу Маню сотрясает одышка, руки у нее дрожат, она ждет от нас сочувствия; говорит мне: «Вот, Витя, думала, детьми успокоюсь, а дети умерли. Думала, внуками успокоюсь – и на тебе», – а начни я ругать Нинку, и Маня станет мне чужой. И не только мне, но и Ирке и Муле.

Муля говорит:

– До Пашкиного возвращения еще два года.

– Ой, не дай мне бог дожить до этого дня, – отвечает Маня. – Приедет пьяница, совсем я тут буду лишняя.

Тогда я все-таки не выдерживаю и начинаю ругать Нинку. Я говорю, что она неблагородный, неблагодарный человек, что она думает только о себе, что баба Маня сама виновата – она своим попустительством разлагает Нинку.

– Говорит же вам Нинка: «Не подлизывай». Вот и не подлизывайте. Пусть сама все делает. Пусть покрутится без бабы Мани.

И тут баба Маня вдруг говорит:



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

- Слабая она. Жить ей недолго.
- Кому? – не сразу понимаю я.
- Нинке, – говорит баба Маня, – грудь у нее слабая.
- У Нинки?! – изумляюсь я. – А у вас?

Но баба Маня уже замкнулась, говорить не о чем. Когда-то я собирался просто разрешить спор между Маней и Нинкой.

– Бросьте вы свою Нинку, – сказал я Мане. – Сколько можно! Есть же у вас и еще внуки. Ирка, например.

До сих пор стыжусь этого, как одной из самых больших глупостей, которые мне пришлось совершить.

Было это больше года назад, когда Нинка завоевывала своего Пашку. Мы с Иркой только что поселились у Мули. Вечерами мне приходилось много работать, я добивался тишины и невзлюбил Нинку уже за то, что она всегда говорила громко, подолгу болтала с Мулей, ни на какие намеки не реагировала, а если я прямо просил ее помолчать или уйти к себе, она переходила на громкий, еще более раздражающий меня полусшепот и жаловалась Ирке так, чтобы слышал и я:

– Вот муж у тебя невоспитанный.

А поздно вечером, иногда за полночь, когда мы с Иркой ложились спать, в ставню нам начинали стучать. Стук был настойчивый. Так не могли стучать мои или Иркины знакомые, так не могли стучать к Муле или к бабе Мане, и, единственный мужчина в доме, я выходил к дверям и говорил каким-то мрачным, нагловатым ребятам:

- Окна Нины выходят во двор. Стучать ей надо со двора.
- Ты, – говорили они мне. – позови Нинку.

И я понимал, что неуважение к Нинке распространяется и на меня. Я стучал к Нинке:

– К тебе!

А Нинка шепотом спрашивала меня из-за двери:

– Это длинный, да? В белой рубашке? С золотым зубом? Скажи, что меня дома нет.

Вначале я соглашался вступать в переговоры с длинным в белой рубашке, и с другим в вельветовой куртке, с лошадиным лицом, и еще с третьим, а потом я говорил Нинке:

– Иди сама.

Нинка затаивалась за дверью и высылала вперед Маню. Маня кричала на ребят:

– Уходите отсюда! Никакой Нинки здесь нет.

А из-за двери продолжали свое:

– Открой, бабка! Нам надо с Нинкой потолковать.

Опять выходил я, требовал, чтобы ребята перестали стучать, а мне отвечали:

– А ты нам не нужен. Мы не к тебе пришли.

Утром баба Маня горестно поджимала губы и отводила в сторону глаза, Муля кричала на Нинку:

– Когда ты перестанешь водить кобелей?!

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Не вожу – сами ходят, – яростно таращась, отвечала Нинка, – а ты завидуешь. Ты даже своей дочке завидуешь. Тебе самой здорового кобеля хочется.

Мулины черные глаза начинали непримиримо полыхать. Ирка кричала:

– Сейчас же прекратите!

А Нинка плачущим голосом объясняла ей:

– Ты же знаешь, Ирка, я сейчас отшиваю всех ребят. Я только с Пашкой. Я ж не виновата, что они ходят.

Этого Пашу я видел раза два. Ничего особенного: нос уточкой, голубые смущающиеся глаза. Рост немного выше среднего, плечи спортивные. Приятный парень, но, повторяю, ничего особенного. А ведь должно было быть особенное, потому что Нинкина любовь развивалась катастрофически. До встречи с Пашкой Нинка работала продавщицей в «гастрономе» – Нинка окончила торговые курсы, – потом ее с позором выгнали из магазина, и она устроилась автобусным кондуктором. До встречи с Пашкой Нинка не скандалила так истерически с бабой Маней и Мулей, не ссорилась с Иркой. Еще ничего не зная об этом Паше, мы с Иркой стали догадываться о его существовании, предчувствовать его появление, потому что у Ирки из шкафа стали исчезать ее платья и белье, а у меня пропала, и притом навсегда, книжка о боевых приемах самбо, книжка, которой я очень дорожил. Ирке не было жаль своего белья, она сочувствовала Нинке и говорила мне:

– Ты напрасно так ее не любишь. Нинка с детства обделена вниманием. Она просто заискивает перед теми, кто хоть как-то хорошо к ней относится.

Домой Нинка стала приходить поздно ночью, утром не могла подняться на работу.

– У нас сегодня санитарный день, – говорила она Мане. – У нас сегодня переучет.

Маня вздыхала, ходила с горестно поджатыми губами, отказывалась есть, когда Муля или Ирка приглашали ее обедать, – скрывала, что Нинка перестала приносить домой деньги и продукты. Все раскрылось в тот день, когда Маня остановила почтальона и спросила, почему пенсия в этом месяце так задерживается.

– Как задерживается? – удивилась почтальон, – Ваша Нина расписалась, можете проверить по ведомости.

Маня собралась и поехала в Нинкин «гастроном». Там ей сказали, что Нинка уволена. Когда Маня вернулась домой, у Нинки началась истерика.

– Чтоб вы сдохли, – кричала она Мане, Муле и Ирке. – Жить вы мне не даете!

Маню, оскорбленную, оглушенную, увели к Муле, Муля спросила:

– Мама, что вы думаете делать?

– Ой, Аня, мне жить не хочется, а ты меня спрашиваешь, что я думаю делать. Ничего мне не хочется, ничего я не хочу делать. Я хочу, чтобы мне дали возможность дожить спокойно.

Попробовали на следующий день разыскать Пашу, говорили с ним, пытались пристыдить, но ничего из этого не вышло. Паша сказал, что он ни к чему Нинку не принуждал, она сама за ним бегаёт, не даёт проходу, а он кончает техникум и уезжает из города навсегда.

Он и правда уехал. Ирка, которая не вмешивалась во всю эту историю, сказала Нинке:

– Разве это мужик? Принимал у тебя вино, подарки? И это мужик? Ну, хорошо – принимал, а спрашивал, откуда у тебя деньги? За таким я убиваться просто бы не могла.

– Разве я убиваюсь, Ира, – сказала ей Нинка, – у меня все перегорело! Дура я, дура! Ничего у меня к нему не осталось.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
А через месяц Нинка села на поезд и укатила в город, в который Паша получил направление. Вернулась она месяцев через десять, когда Пашу призвали в армию. Победила-таки его. Приехала успокоившаяся, рассказывала:

– Ехала к нему, послала телеграмму: «Встречай!» А он встречать не вышел. Я с вокзала к нему в общежитие, а комната его заперта, и ключа нет – не оставил. Соседи говорят: на работе. А у него уже женщина была, с которой он встречался, ей и сказали, что я приехала и сижу на чемодане у него под дверью. Она ко мне: «Девушка, вы к Павлику приехали? Учтите, мы с ним уже месяц встречаемся». А я ей сразу: «Вы с ним месяц встречаетесь, а я с ним два года сплю». Она и пошла от меня по коридору. А Пашка с работы вернулся: «Ниночка, Ниночка!» Куда там... В армию уходил, все беспокоился, чтобы я ему тут не изменяла...

На работу в автобусный парк Нинка устраивалась так. Дала отцу денег, тот пошел к каким-то своим знакомым, пил с ними, еще с кем-то пил, и наконец Нинку зачислили. Я удивился:

– Зачем тебе это было нужно? Без выпивки тебя б кондуктором не приняли?

– А как же, Витя! – удивилась Нинка. – А приняли, так, думаешь, давать не надо? Диспетчеру не дашь – загонит на плохую линию. С шофером не поделишься – плана никогда не выполнишь. А плана не дашь – с автобуса снимут, в мойщицы переведут. Тут напихуешься, пока десятку заработаешь, а потом и раздашь.

Нинка меня всегда потрясала тем, что была насквозь своя в мире, с которым я по своей профессии обязан был воевать. Если бы я сказал: «Во всех магазинах воруют» – это было бы трагическим признанием того, что все усилия учителей, газетчиков вроде меня, писателей, самой высокой государственной власти – всех тех, кто учит тому, что такое хорошо и что такое плохо, ничего не стоят. Нинка утверждала: «Во всех магазинах воруют» – не испытывая ни горечи, ни разочарования. Она жила в этом мире. Не лучше и не хуже других. И все. Напихуйся, а десятку заработай.

Работать Нинке тяжело. Особенно трудно приходится ей в ночных сменах, когда она возит пассажиров в наш окраинный район. Каждый день какое-нибудь приключение. Пьяный приставал, хулиганы хотели кого-то ограбить или обидеть.

– Вчера везу двоих – парень и девушка. Смотрю, они уже вторую туру не вылазят, а около них трое парней, фиксатые, в пиджачках – ну я их сразу вижу. Ждут, пока эти двое встанут. Я смотрела, смотрела, говорю этим троим: «А ну вылазьте! На карусели будете кататься, а тут автобус». Один ко мне подходит: «Молчи, сука!» А я прикидываю – до цементного завода ни одной остановки с милиционером. Я ему говорю: «Какая я сука? Ты сам похуже суки. Ты, говорю, не на ту напал. Я таких, как ты, видела-перевидела. Скажу шоферу, чтобы двери запер и к милиции ехал, так сразу вашу вшивую компанию и сдам». Кричу шоферу: «Петя, тут приבלыканные пристаю!» Петя взял монтировку – а на автобусах мужики подобрались здоровенные, – остановил машину: «А ну, говорит, выметайтесь!» Те упираться. Грозятся: «Мы тебя встретим!» А потом вылезли. А через две остановки и эти двое встали: «Спасибо», говорят.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

Так мы и живем семеро в одном доме. Шесть женщин: баба Маня, Муля, Мулина мать, Ирка, Нинка, Нинкина дочь Наташка – и я. Утро у нас начинается в пять часов. Первой начинает хозяйничать Муля. Последний месяц Муля почти не спит – караулит доски, бревна, мешки с цементом, которые лежат у нас во дворе. Дело идет к осени, а мы пристраиваем к нашей половине дома тамбур. Вернее, комнатку-тамбур. Дом, поставленный бабой Маней и ее мужем, перестроенный Мулей и сыном бабы Мани, мы перестраиваем еще раз. На нашей половине мы ломаем перегородки – увеличиваем комнаты за счет коридора. Когда мы закончим перестройку, у нас будут две комнаты по двенадцати метров да еще комнатка-тамбур, в которой мы поставим печь и которую сделаем тепловым барьером против осенних ветров и зимней пурги.

Вся эта спешная работа начата под давлением Ирки. Когда-то она мне сказала: «Надо, чтобы маленький у нас появился летом. Дом старый, сырой, сплошные сквозняки, если он у нас появится зимой, мы его насмерть простудим». Но оказалось, что он у нас все-таки появится зимой. Когда Ирка это поняла, она стала смотреть на меня отчужденно и оценивающе, как в тот день, когда мы с ней пошли в загс и она бесстрастным голосом сообщила, что оставляет за собой свою фамилию. Она стала с запозданием отвечать на мои вопросы, а в день моего

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru рождения забыла меня поздравить. Она ждала, что я что-то решу. Она даже знала, что я должен решить, она могла подсказать мне это решение, но почему-то хотела, чтобы я сам его нашел. А я упирался, я не понимал. Я просто не чувствовал важности и значительности того, что чувствовала она. Трагические Иркины предчувствия меня раздражали.

Из последних пятнадцати лет половину я провел в бараках и думал, что заслужил право пренебрежительно относиться ко всяким бытовым удобствам. К тому же квартиры мне все равно никто бы не дал. Работал я тренером в спортклубе большого завода, вечерами писал, мои заметки стали изредка появляться в печати, и я считал, что делаю все, что могу. И вообще ни о каких квартирах я еще думать не мог.

– Понимаешь, – убеждал я Ирку, – не в этом главное. Мы с тобой не какие-нибудь одноклеточные. Надо что-то делать. Надо же для чего-то жить!

Раньше Ирка даже с некоторым энтузиазмом слушала меня, теперь она молчала.

– Ну, хорошо, – говорил я, – ты же знаешь, что я не столяр, не плотник. Я никогда не жил на окраине, я не умею того, что должен уметь человек, живущий в таком доме. Я же честно ношу воду, таскаю уголь, рублю дрова, копаю землю в саду, наконец. Но если я возьмусь исправлять нашу дверь – я загублю ее. Ничего не могу тебе обещать, но, кажется, меня, могут взять на работу в газету. Тогда что-нибудь у нас изменится к лучшему. Во всяком случае – это шанс...

Шанс этот был вот каким. Однажды я зашел в редакцию журнала, в котором уже напечатали мой очерк и где мне начали давать маленькие задания.

– Хотите, – сказал мне мой редактор, – я вас устрою в газету? Открывается новая городская газета, а главный в ней будет мой хороший знакомый. Решайтесь быстрее, он сейчас сюда придет.

Потом в кабинет вошел человек, которого я должен был бы узнать с первого взгляда, потому что от него зависело, работать ли мне в новой городской газете.

– Александр Яковлевич, – сказал ему редактор, – тебе нужны люди? Могу тебе порекомендовать вот этого парня. Он тебе и рецензию и очерк напишет. Он у нас уже несколько раз печатался, и всегда удачно.

Александр Яковлевич присел к столу и спросил меня:

– На что вы рассчитываете?

На что я рассчитываю? Я даже не понял вопроса. Меня ни разу в жизни об этом не спрашивали.

– Места заведующего отделом у меня нет. Мне нужны люди, которые умеют бегать. Столоначальники мне не нужны. Шесть столоначальников – (пренебрежительный жест), – у меня уже есть. Мне нужны пишущие люди. Я хочу, чтобы мои журналисты писали. Читатель должен знать людей, которые работают в газете. У вас какое образование?

– Литературное.

– Мне нужен очеркист при секретариате. По штату нам в городской газете такая должность не положена, но я хочу по-новому построить работу. Вы областную газету читаете?

– Читаю... иногда.

– Нравится?

– Не нравится, – честно сказал я.

– Я и хочу, чтобы не нравилась. Я хочу, чтобы читатели сразу уловили разницу между нашей газетой и областной. По-другому, по-другому надо строить работу. У меня будут работать только молодые. Средний возраст – ниже тридцати лет. Пожилые только я и мой заместитель.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– А кто зам? – спросил редактор.

– А, – ревниво отмахнулся Александр Яковлевич и не ответил. – Запишите мой домашний телефон, – сказал он мне. – Пока у нас нет постоянного места, звоните мне домой.

– Я работаю на заводе физруком, – замялся я. – Мне увольняться?

– Сколько вы там получаете?

Я сказал.

Александр Яковлевич что-то прикинул и кивнул:

– Много я обещать не могу, но рублей на триста больше вы будете иметь. Через месяц увольняйтесь.

Он пожал мне руку, закрыл блокнот, в который записал мой адрес, имя и фамилию, и ушел, оставив меня в растерянности. Я был обязан рассказать ему о своей биографии. Но у меня не хватило духа это сделать. Когда человек так по-человечески с тобой разговаривает, жмет тебе руку, задает вопросы – всегда трудно остановить его и сказать: «Понимаете, все это хорошо, но я хотел бы, чтобы вы раньше ознакомились с моей анкетой». Это все равно, что сказать грубость. Поставить в неудобное положение доброжелателя. Тут всегда надо быть начеку и разговор о собственной анкете заводить раньше, чем человек превратится в твоего доброжелателя.

Я виновато посмотрел на своего редактора.

– Вот видите, – сказал он мне, – все получилось очень просто.

– Да, – сказал я, – но он не знает...

– Что-то насчет этой нелепой студенческой истории? Какое это сейчас имеет значение? Ах, бросьте вы, право! – И редактор занялся работой.

История действительно нелепая. Но патрон лукавил. Еще три-четыре года тому назад мало кто осмелился бы назвать ее нелепой. «...Ах, бросьте вы, право!» – сказал мой редактор, но по тому, как он был старательно небрежен, чувствовалось, что три-четыре года слишком маленький срок, чтобы человеку свободно давалась эта небрежность.

Его оптимизм меня тоже не убеждал. Уже два раза меня пытались взять на работу в журнал, но оба раза на какой-то ступени все замораживалось. Чтобы избежать себя от лишних унижений, я дал себе слово не звонить Александру Яковлевичу, однако не выдержал и недели и позвонил ему. Он велел мне прийти через несколько дней с документами в горком партии – секретарь горкома по пропаганде познакомился с будущими журналистами новой газеты.

Я шел в горком и надеялся только на то, что третьим секретарем сейчас не тот человек, к которому я приходил несколько лет назад. Фамилию того я забыл, фамилию этого Александр Яковлевич мне назвал – Селиванов. Однако, когда секретарша позвала меня, я уже не надеялся, что Селиванов – это другой человек: слишком все и в приемной и в кабинете, видном мне через полураскрытые двери, было тем же самым.

Я вошел, но никто не обратил на меня внимания. Селиванов и Александр Яковлевич только что проводили журналиста, с которым я познакомился в приемной, и говорили о нем. Они сидели за маленьким столиком, поставленным на полпути к большому столу. Александр Яковлевич сказал мне: «Садись», – и тогда секретарь горкома пошевелился наконец ко мне всем корпусом. Он не изменился, не постарел. Сидел он неподвижно, вопросительно нацелившись на меня, но по его маленьким темным глазам сразу было видно, что он очень подвижный, резкий и решительный человек.

– Ну что ж, – сказал он, – давайте поговорим. Александр Яковлевич, где бумаги товарища?

Он не узнал меня, и я стал надеяться, что он и не узнает, что он не станет

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) смотреть мои бумаги, а если посмотрит, то небрежно – уже было принято небрежно смотреть бумаги, если ты их сам принес: «дело не в бумагах – дело в живом человеке». Но Селиванов сразу взялся за бумаги, и надежда моя мгновенно исчезла. Он тотчас же нашел именно тот пункт, который подводил меня:

– В пятьдесят втором году ушли из института... Почему?

Он еще не останавливался специально на этом вопросе. Он спрашивал, готовясь услышать быстрый удовлетворительный ответ и читать анкету дальше.

– Работал на строительстве. В Сибири.

Селиванов откинулся на стуле:

– Да, но зачем было оставлять институт на последнем курсе?

Я замаялся, и он сразу же отодвинул бумагу, приготовился к разговору.

– Давайте-давайте, – поторопил он меня. – Давайте говорите правду. Бояться здесь нечего. И некого. Здесь все свои. Правда, Александр Яковлевич?

Он улыбался. Это была поощрительная, поторапливающая улыбка.

– В пятьдесят втором году я приходил к вам.

Я ожидал, что после этого он вспомнит меня.

– Я слушаю вас, – сказал Селиванов, он все еще улыбался поторапливающей улыбкой.

– У Василия Дмитриевича много людей бывает, – сказал Александр Яковлевич. Он насторожился.

Я чувствовал себя виноватым перед ним. Я обязан был рассказать ему об этой дурацкой институтской истории. О том, как нас разоблачали, клеймили, называли людьми с двойным дном за то, что мы рисовали друг на друга карикатуры, писали стихи.

– Помните эту пединститутскую историю? – сказал я Селиванову.

И тут он вдруг все сразу вспомнил.

– Где вы работаете?

Я сказал.

– Это какой завод? Где он расположен, в каком районе?

– Это Северный поселок.

– Район? Какой район?

Я молчал.

– Вы не знаете? А в каком районе вы живете? Не знаете? А в каком районе мы сейчас находимся? А сколько в городе районов?

Я не то чтобы не знал, я был ошеломлен.

Александр Яковлевич сказал Селиванову:

– Я буду вытравлять в газете эти названия: «Северный поселок», «Западный поселок»! Это же не названия для районов города.

Селиванов кивнул ему.

– Теперь я вижу, что вы действительно аполитичный человек. А почему вы решили поступить в газету? Почему вы решили, что там ваше место?

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
Я посмотрел на Александра Яковлевича. Теперь я боялся подвести редактора, который рекомендовал меня.

– Вы когда-нибудь работали в газете?

– Печатался немного.

– А почему вы не идете работать по специальности? Вы же учитель.

– Нет вакансий.

– Так, может, порекомендовать в горно, чтобы вам подыскали место? – Он позвонил секретарше: – Соедините меня с горно. Не отвечают? – Он положил трубку.

Я сидел, не смея повернуться к редактору. Он был красен.

– Все, – сказал Селиванов и оглянулся на редактора. – Я думаю, Александр Яковлевич, все? Идите. Мы порекомендуем заведующему горно, чтобы он заинтересовался вами.

Чтобы не возвращаться к этому опять, скажу сразу – меня приняли в газету. Почему? Не знаю. Судя по тому, как закончился разговор с Селивановым, меня не должны были принять. Но я не стал допытываться у Александра Яковлевича, как ему удалось отстоять меня, с кем еще консультировался, созванивался Селиванов. Может быть, главное было в том, что в пятьдесят седьмом году работу в газете надо было строить по-другому. Может быть. Но когда я уходил из кабинета Селиванова, я всего этого еще не знал.

Дома мне открыла Ирка. У нее были красные глаза.

– Что случилось? – спросил я.

– Ставня, – отчужденно сказала Ирка. – Ставня второй месяц не открывается. В комнате темно, а никто не подумает приделать к ставне крючок. Петли там все перержавели. Их отец еще, наверно, ставил.

Я вышел на улицу. Половинка ставни первого от угла окна была закрыта. Я открыл ее – ставня косо повисла на нижней петле. Верхняя петля перержавела. Перержавело и дерево под петлями и рядом с ними. Судя по количеству пробоин, петли несколько раз переносили с места на место, и теперь дерево окончательно стало рыхлым. Надо было менять не только петли, но и всю ставню и даже оконную лудку с наличником. Я закрыл ставню и прошел вдоль забора. Под ветром забор выгнулся, парусил. Коля, на которых держалась легкая дощатая решетка, почти полностью сгнили в земле. Их как будто подпилили у самого основания. И теперь не решетка на них опиралась, а сами колья висели на решетке. На весь забор уцелело не больше двух-трех кольев. Я вернулся в дом, спросил у Ирки:

– Что ты предлагаешь?

Иркин план подавил меня. Переносить перегородки на нашей половине дома, увеличивать за счет коридора наши две комнаты, пристраивать комнатку-тамбур, где-то доставать кирпич, доски, кровельное железо – для меня было все равно что построить гидростанцию, шлюз или возвести высотное здание. Я чувствовал, что Ирка права, что я обречен – нам просто негде будет жить, некуда деть маленького, не говоря уже о том, что Женьке, когда он вернется из армии, надо где-то поставить кровать, – и все же я закричал что-то злобное, нелепое. Я кричал, что не желаю становиться домовладельцем, что ненавижу и этот дом, и эту улицу, и всю эту окраину. Здесь все давно пора пустить на слом. Не ремонтировать, не строить, а ломать. И я не желаю ради этой хаты на несколько месяцев отключаться от настоящей жизни.

– Я не хочу строить эту конуру, – кричал я. – Не хочу!

И еще кричал что-то о праве на призвание, о том, что не поступлюсь и минутой не только ради этой конуры, но и самого очевидного распроблагополучия. Я так и сказал: «Распроблагополучия». И не знаю, как ко мне явилось это слово и как я его выговорил.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
Глаза у Ирки стали Мулиными – непрощающими, ожесточенными. Они у нее последнее время всегда становились такими, когда я кричал о своем призвании, о том, что каждый человек обязан жить для людей, что семью можно построить, только если мы оба это понимаем, что у нас не должно быть культа унижающих душу мелочей. Пришла с работы Муля. Сняла платок, посмотрела на пол – чисто ли, на печку – горит ли, заглянула в шкаф – все ли на месте, сказала:

– Устал человек. – Посмотрела на Ирку, на меня, мгновенно оценила ситуацию, сообщила: – Видела Петьку Ясько. (Петька Ясько – старый Иркин ухажер. О всех ребятах, которые когда-либо ухаживали за Иркой, Муля мне очень подробно рассказала.) – Скажи ты, какой здоровый стал! Говорит мне: «Тетя Аня, здравствуйте!» А я не узнаю. Смотрю на него – плечи вот такие, ручища, как у самосудчика! Ну, палач, – восторженно сказала Муля, – чистый палач! Говорит: «Тетя Аня, проходил мимо вашего дома, забор у вас там валится. Что ж, некому починить? Прийти в воскресенье починить?» А я ему говорю: «Ты ж знаешь – нет мужчины в доме». – «А ваш зять? Вы знаете, тетя Аня, как я к Ирке отношусь, мне интересно, какой зять». Я говорю: «Зять – человек неплохой, но способностей у него к такой работе нет. Кто что умеет». – «А что он делает?» – «Пишет». – «Писатель?» – «Писатель». Попрощались мы с ним. Он пошел, а я смотрю – здоровенный! Ну просто самосудчик! А дом какой у них, видела, Ирка? Вот скажи ты – необразованный, а такой талантливый парень! И дом сам поставил, и ворота такие выкрасил, и машина у него. Все в руках горит.

– Что-то вы, Муля, слишком уж восторженно о мужиках говорите, – оскорбился я.

Когда-то, еще до того, как мы с Иркой поженились, когда мы с ней еще только напряженно присматривались друг к другу, часто ссорились, Муля пришла ко мне домой. Я еще не знал тогда, что это Муля. В квартиру моих родителей, где я тогда жил, позвонила маленькая, плотная, седая женщина с черными пристальными глазами и спросила меня. Мы прошли в комнату.

– Я на минутку, – сказала она.

– Пожалуйста, пожалуйста, – подал я ей стул. «Почтальон не почтальон, чего ей надо?»

– Я Ирина мать, – сказала она. – Я вас очень прошу, чтобы Ира никогда не узнала, что я была у вас.

– Да, – растерянно кивнул я. Мы уже целую неделю были с Иркой в ссоре.

– Я так волнуюсь, – сказала она. – Мне так неудобно. Я ушла с работы, отпросилась у мастера. Женщины на работе мне говорят: «Аня, что с тобой, на тебе лица нет». А у меня, верите, работа валится из рук. Я вас не знаю, ничего о вас не слышала, Ирка со мной ничем таким не делится, а только вижу я, что она сама не своя. Вы не знаете, какай у нее характер. Лучше не иметь никакого характера, чем такой, как у нее. Я вас один раз видела с ней и потом, простите, на письме, которое вы ей написали, прочитала ваш адрес. И вот пришла к вам. Я даже не знаю, что вам сказать, чтобы вы не подумали ничего плохого. Но вы поймете меня, я мать, мне не хочется, чтобы мои дети мучились.

Я развел руками. Мне было неудобно, я не знал, что сказать: Мы с Иркой, конечно же, никогда не принимали в расчет ни моих, ни ее родителей.

Потом я провожал Мулю к дверям и говорил невпопад:

– Да, да, нет, нет. Что вы! Конечно же!

Кажется, тогда я подумал: «У нас с Иркой все будет серьезно». Впрочем, с Иркой у нас с самого начала все получалось очень серьезно и очень напряженно.

А когда мы с Иркой поженились и переехали к ней жить, я понял, что с самого начала не понравился Муле. Я не умел починить крышу, поставить забор, не умел навесить ставню. Я плохо зарабатывал и не пытался взять в свои руки управление домом. Я был совершенно равнодушен к дому. И как-то раз, когда Муля пригласила соседа-плотника поправить нам дверь, я впервые услышал: «Нет мужчины в доме».

– Вы ж знаете, – говорила Муля, – нет мужчины в доме. Женька же в армии. Скотина



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru он, конечно, но дверь сам бы починил. Вот скажи ты, не ценишь, когда рядом. Не могла дожидаться, когда его уже в армию заберут, а теперь жалею, что дома нет.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

Однако Муля лицемерила – ни с каким мужчиной она не стала бы делиться ни властью, ни заботами в нашем доме. День у нас в хате начинается так. В пять часов утра в Мулиной комнате хлопает выходная дверь и раздаётся беглый, по-собачьему частый топот ног. Потом Муля хриплым, надрывно громким шепотом затевает с глухой бабкой примерно такую беседу:

– Спички?

– А-ха-ха... А?

– Спички?! – еще громче шипит Муля. Она экономит звуки, слова, спрашивает: «Спички?», а не полностью: «Где спички?» – чтобы не будить нас, но глухая бабка ничего не понимает спросонок, и Муля переходит на крик: – Где спички? Где спи-ички?! Понимаешь?!

– А-а... у халати. В карманчике.

– А, черт тебе уши законопатил.

И опять беглые, по-собачьи частые шаги от шкафа к печке, от печки к столу. Грохот выходной двери, сквозняк, наполняющий холодом темные комнаты. И вдруг алюминиевый звон грохнувшейся об пол кастрюли. И сразу же приглушенные, но явные проклятья на голову тех, кто «никогда не ставит вещи на свое место».

Ирка лежит рядом со мной с закрытыми глазами, но, как и я, не спит. Ирка преподает в вечерней школе. Рабочий день у нее начинается в шесть-семь часов вечера. В полдвенадцатого я иду встречать ее к кожгалантерейной фабрике, рядом с которой стоит школа. Днем это дневная школа, вечером в нескольких классах занимаются вечерники. Днем это довольно бойкое место. Ночью здесь глухо, а временами опасно. Один раз хулиганы продержали в осаде учительскую, где заперлось несколько учителей. Часам к двенадцати мы с Ирккой возвращаемся домой, в час ложимся спать. Муля ложится еще позже: что-то съед, клеит на бумагу талоны, подсчитывает свой фабричный заработок – «правит талмуды», как она говорит. Наконец тушит свет, а в пять часов утра опять на ногах. Мы с Ирккой не высыпаемся. Беременной Иркке особенно хочется спать, я чувствую, как она напрягается, прислушиваясь к Мулиным частым шагам, как ждет, когда Муля угомонится или просто уйдет на работу. Я вздыхаю, ворочаюсь – больше мне не заснуть, а Ирка лежит неподвижно, никак не показывает своего раздражения. Она знает, что одергивать или просить Мулю бесполезно. Муля скажет: «Хорошо, хорошо», а через минуту прибежит к бабке: «Масло? Где масло?..»

Наконец Муля что-то приговорила, прибрала, поднимает с кровати бабку, накидывает ей на плечи платок или одеяло, вытаскивает в коридор или на улицу и там, уже отделенная от нас дверью, кричит что есть силы:

– Мама, кашу я вам поставила в короб! В короб, говорю! В короб! А чтоб тебе!.. Кашу в ко-роб!

Потом следуют остальные объяснения. Где стоит молоко, где сахар.

– Сахар в банке весь! Весь, говорю! Денег до полочки нет. Говорю: весь!

И вдруг бабкин возмущенный лепет, похожий и на бульканье и на клетот:

– Да не штурляй ты меня. Дочь называется! Восплачешь и возрыдаешь...

– С тобой – и в грех не войти! – кричит Муля. – Иди спать!

Мулин крик уже похож на рыдание.

Хлопает дверь, бабка с кряхтением укладывается на кровать, а Муля через комнаты пробегает к нам. Она уже в пальто, уже опаздывает к себе на фабрику. Она набегалась, и кажется мне марафонцем, достигшим середины дистанции. Она и дышит, как марафонец на середине дистанции, когда наклоняется в темноте над нашей

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
кроватью.

– Ирка! – нетерпеливым шепотом зовет она. – Ирка!

Она говорит шепотом, как будто собирается разбудить только Ирку, а мне дает еще поспать. Ирка отзывается не сразу.

– Да, – говорит она, – все слышала. Каша в коробе.

Муля наклоняется над ней:

– Огурцы в большой кастрюле. Поднимаешь крышку, снимаешь остороженько тряпку, а там гнет. Огурцы в капусте. Возьмешь – и все на место. И гнет, и тряпку, и крышку.

Ирка не отзывается, глаза ее закрыты.

– Ты слышишь? Крышку поставь на место. Из хлеба гренки сделай. Хлеб черствый, а ты его молочком размочи и гренки сделай. Масла нет, а ты на маленьком огне. Масла там немного. Ты не бери. Я приду с работы, оладьев напеку. Виктор любит оладьи?

– Ой, Муля, иди ради бога на работу.

– Бутылки сдай. Там три бутылки и пять банок. Кефиру купишь. Слышишь?

– Слышу.

– Ты в город сегодня не пойдешь?

– Не знаю.

– Если пойдешь, передай Альке пирожков, что я вчера пекла. Спроси, есть ли у него деньги. Пусть грязное белье принесет, я ему постираю.

Алька – Мулин племянник. Он учится в университете. Родители его живут в районном городке, а Муля тут за Алькой присматривает. Раньше Алька жил у Мули, но с тех пор, как мы с Иркой поженились, в двух комнатках совсем не осталось места, и Алька переехал на частную квартиру.

Муля выбегает из комнаты, возвращается опять – что-то забыла, чертыхается и наконец захлопывает за собой двери. Но это еще не все. Мы с Иркой ждем – и сразу же слышим стук в соседнюю дверь, к бабе Мане. Баба Маня любит поспать, она отзывается не скоро. Муля стучит все раздраженнее.

– Мама! Мама! Откройте, это я, – зовет она сдавленным голосом.

Дверь открывается.

– Чего тебе? – с сонным стоном спрашивает Маня.

– Чего вы запираетесь на ночь? – раздраженно частит Муля. – Черти вас утащат? Что у вас тут красть? Крышку от ночного горшка?

Ирка не выдерживает.

– Прикрикни на нее, – говорит она мне. – Тебя она послушает.

Я не отвечаю. А за дверью раздраженная перебранка переходит в торопливый гул голосов, в котором трудно разобрать отдельные слова:

– Кашу я оставила в коробе... Скажите Ирке, чтобы масло не трогала, там на дне банки... Если Алька придет, покажите ему, где его чистые рубашки...

Хлопает выходная дверь, в хате спадает напряжение, становится тихо. Однако мы с Иркой еще ждем стука в ставню. Может постучать какая-нибудь Мулина товарка, возвращающаяся с ночной смены домой. Муля часто просит кого-нибудь из своих знакомых, идущих ей навстречу с фабрики, постучать нам в окно и сообщить, что

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru каша стоит в коробе, а в магазин привезли капусту и синенькие и надо, чтобы Ирка встала и пошла занять очередь. На стук в ставню Ирка быстро поднимается, вежливо отвечает: «Да, да; спасибо, хорошо, что вы зашли», – и ложится опять.

Возвращается с работы Муля часов в пять–шесть. Первая смена на фабрике заканчивается в три часа дня, но после работы Муля еще бежит на рынок, в магазины, постоит в очереди за концентратами, крупой. Или за мороженой рыбой. Придет, бросит в коридорчике кошелку, сядет на табуретку:

– Устал человек. – И сразу же вскинется: – Алька не приходил?

– Нет.

– Сегодня дождь накрапывал, а мальчишка без плаща. Ирка, ты не поедешь в город?

– Нет. Мне на работу.

– Поеду отвезу плащ.

– Муля, ты бы хоть поела. Парень здоровый, надо будет – сам за плащом приедет.

– Поеду, душа болит.

Сложит аккуратно чистые Алькины рубашки, плащ, завернет пирожки и побежит. Вернется часа через два. Ирка уже на работе, в доме я и бабка. Спросит меня:

– Ирка поела?

– Да.

– А ты? Давно обедал? Сейчас картошечки нажарю.

И начнет хлопотать. Чистит картошку, разжигает керогаз, выбежит во двор, где на огороде созревают бурые осенние помидоры, принесет несколько буро-зеленых, пахнущих огудиной, порежет, покрошит лук, посыплет все это перцем, поставит передо мной.

– Да вы сами ешьте, Муля!

– Успею, успею, Витя. Я так на фабрике намоталась, что есть не хочется. Физическая работа! Что ты, шутишь!

И начнет рассказывать, что она видела, приехав к Альке. Единственное, чего Муля не может, это молчать:

– Не застала паршивца дома. Хозяйка его мне говорит: «Вы знаете, Анна Стефановна, голодает ваш Алька». – «Как голодает? Ему же отец каждый месяц высылает триста пятьдесят рублей. Да стипендия двести! Я столько на фабрике не зарабатываю». – «Так ему этих денег на три дня не хватает. У кого-то день рождения – Алька тащит подарок, у кого-то денег нет – Алька дает свои. А то просто конфет дорогих закупит, в ресторане пообедает, а потом месяц ходит голодный. И товарищи у него такие. Смотреть я на них голодных не могу. Я уж решила – пусть лучше съезжают с квартиры. Возьму девчонок. Те хоть аккуратные». Ну что ты скажешь! Напишу сестре, пусть ему хвост накрутит.

Накормит Муля меня, накормит бабку, пристроится стирать или шить. А потом до поздней ночи правит свои талмуды.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

А сейчас у нас строительство. Ирка ходит вялая, сонная, отяжелевшая. Проводя ее в трамвае сквозь толпу, я спиной придерживаю напирających, выставлю локти: раза два чуть не подрался с какими-то настырными мужиками. Жить нам сейчас по сути дела негде. В доме на полу толстым слоем лежит глина, штукатурка. Плюнув на все, я рьяно выполняю свою часть работы – ломаю перегородки, пробиваю в стене проем для новой входной двери. Прочно строили баба Маня и ее муж. Дом планкованный, то есть стены и перегородки сбиты из планок, дранок, которые переплетаются подобно арматуре железобетона. В пространство между планками набита глина. Я бью по перегородке киркой, бью изо всех сил, а результаты ничтожны. Клюв кирки вязнет в

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) глине, крошит стену, но именно крошит. Отвалить крупный кусок мне не удастся. Двери на улицу у нас нет – вместо двери пролом. Печка тоже сломана, от печных кирпичей в доме стоит кислый дух. Для пристройки Муля достала камня-песчаника – договорилась со знакомым шофером, и тот за полсотни забросил нам две машины «левого» камня. У себя на фабрике Муля добыла три мешка цемента – добилась, чтобы выписали ей. Муля вообще ведет все строительство. Договаривается с плотником, который поставит нам перегородки, со столяром, который сделает лудки для дверей и окон, с каменщиками, которые кладут соседям дом. Спит она теперь во дворе – поставила свою кровать рядом с досками, уложенными маленьким штабелем, и караулит их.

– Муля, – говорит ей Ирка, – соседи дом строят. Не нам чета. Так у них доски и бревна на улице. А у нас и воровать-то нечего. Чего ты мерзнешь на дворе? В доме все-таки теплее.

Муля смотрит на нее своими пристальными глазами:

– Не твое дело. Ты спи знай.

– Да неудобно нам в доме, когда вы на улице, – говорю я. – Зачем себя напрасно изводить?

– Муля любит страшное и страшенькое, – говорит Ирка. – Обожает изводить себя и других. Себя – чтобы изводить других.

– Страхное! – вспышивает Муля. – Ишь как язык тебе в университете подвесили! Тебя жареный петух еще в одно место не клевал – Муля заслоняла. Страхное! – и поворачивается ко мне: – Витя, пойдём, поможешь мне извести принести.

Мы идем на соседнюю улицу к Мулиной знакомой. У нее после строительства осталась гашеная известь.

– Хорошая известь и дешево, – говорит мне Муля. – Я еще в двух местах смотрела – там дороже. А тут мы на каждом ведре рубль экономим.

Муля с двумя пустыми ведрами быстро идет вперед, я едва успеваю за ней. Она оборачивается на ходу и рассказывает, где и что она еще задешево присмотрела.

Яма с известью, выкопанная прямо на проезжей части дороги, присыпана слоем песка. Муля сбегала во двор, отогнала собаку, вынесла лопату, отгребла песок:

– Накладывай поплотнее.

Я снял верхний слой, перемешанный с землей и песком, – известь оказалась жирной, хорошо гашенной. Лопата легко ее резала; на срезах известь отливала синевой.

– Как масло, – обрадовалась Муля. Она наклонилась и размяла в руках белый комок. – Встряхни ведро, пусть плотнее ляжет.

Известь была тяжелой. Когда я поднял ведро, дужки врезались мне в ладони.

– Вот, – сказала Муля, – ребенок еще не родился, а уже сколько трудов потребовал. Ты вот сладкое любишь. Сын родится – сразу разлюбишь.

– Почему?

– А как же! Сладкое дитю будешь оставлять.

Потом Муля сказала:

– Давай теперь я понесу – сердце надорвешь, а тебе еще жить надо, ребенка воспитывать. Я считаю, те дураки, которые рано умирают.

Дужки ведер режут мне руки, плечи обвисают. Мне и правда хочется поставить ведра, передохнуть. И потому Мулины слова меня раздражают. Кроме того, сегодня утром Муля вспомнила свое любимое: «Нет мужчины в доме». Я бухаю:

– А ваш муж тоже дурак?

– Конечно, – говорит Муля. – Другие вместе с ним были и выжили, а он погиб. Хвастался – ничего не боюсь! – и погиб. И двоих детей бросил.

О том, как погиб Николай, Муля знает от его сослуживцев. Есть несколько человек, которые были с ним за несколько минут до его гибели, жив тот, который похоронил его. Однако в рассказах сослуживцев Николая есть что-то неясное, тяжело тревожащее Мулю. Она почему-то уверена, что Николай сгорел. Он был железнодорожником. В сорок четвертом году во время бомбежки не вышел из паровоза – хотя мог выйти: поезд стоял под разгрузкой на каком-то прифронтовом полустанке. Все остальные разбежались и уцелели, а он погиб.

– Понимаешь, Витя, они все путают. Тут у нас на улице женщина есть, она и до сих пор ждет своего сына. Кто-то ей сказал, что его видели в плену, она его и ждет. А все знают, что сын ее погиб. Товарищ этого парня рассказывал, что ее сына насмерть забили немцы. Он бежал из лагеря, его поймали и перед всеми для острастки насмерть заповороли. А она его ждет. Никто ей не говорит, и она ждет. И мне не говорят, а я догадываюсь. Там был пожар. Все они говорят, что вагоны и паровоз горели. А Николай был в паровозе. Витя, ты не знаешь, какой он здоровый был! Он никогда ничем не болел. Вот такие плечи! Борьбой занимался. Он не мог легко умереть. Они и путают. Кто говорит, ему ногу оторвало, кто говорит – руку. Будто его вынесли из огня, и тут он умер. А кто говорит, что он умер в паровозе, что его мертвым вынесли. А я знаю – он сгорел. Ему руку и ногу оторвало, он не смог выбраться и живым сгорел. Он был такой здоровый, что не мог сразу умереть. Он был еще в сознании...

– Муля, зачем вы себя так изводите?

– А, Витя! Мне с детских лет судьба улыбается – зубы скалит. А с Николаем, думаешь, мне легко было? Любили мы друг друга, пусть баба Маня скажет, это правда, а ссорились часто. Он же какой был? Все для товарищей. Как будто и нет семьи у него. Когда мы поженились, хлебные карточки еще были. Он придет с работы, принесет хлебные карточки на Ирку, на меня, а его хлебной карточки нет. Я пересчитаю: «Где хлебная карточка?» – «Да, говорит, товарищ один на работе потерял все свои хлебные карточки, я ему одну свою и отдал». – «Да у тебя ж семья, ребенок!» Молчит. Бариннов того товарища фамилия. Я и сейчас помню. Улицы через две живет. Когда Коля погиб, ни разу не поинтересовался, как мы живем, надо ли помочь. Ой, а как мы тогда бедовали! Страшно и смешно сказать. Лестница в подвал обрушилась, мы не можем в подвал спуститься. Забор валится... Да что! Я ж при Николае не работала, он не хотел. И деньги у него все были, я и не знала, сколько он получает, стеснялась спросить. Это я теперь ничего не стесняюсь, а тогда стеснялась. Отец мой спрашивал: «Сколько твой муж получает?» А я не знала. Неудобно мне. «Какая ж ты жена?!» А отец у меня был такой же, как мать. Видишь же ее. Я их не любила. Они меня от школы оторвали, чтобы я им помогала дом строить. Учиться я хотела, способности у меня были, я все сразу запоминала, а у меня ни книжек, ни тетрадей никогда не было – не покупали. «Спроси, – говорит отец, – узнай, может, он деньги от тебя утаивает». А я не спрашивала. До одного случая. Ирка у меня тогда уже в живота шевелилась, а я все еще в баскет бегала. Я хорошо играла, по корзине мяч точно бросала. Когда игра идет, девчонки кричат: «Аньке, Аньке!» – чтобы мне мяч дали. И Николай такой же. Придет с работы – и на стадион. Были мы с ним один раз на стадионе, а я уж не помню зачем, сбегала домой. Прибежала, а на стуле его брюки висят. А у нас с ним перед этим разговор такой был. Деньги хозяйственные, которые он мне дал, у меня все вышли, а до полочки еще три дня. Я ему об этом сказала. Он говорит: «Хозяйствовать лучше надо, лучше соображать». Я ему привожу: «Вот то-то я купила и то-то, ничего лишнего не покупала. Купила материи дитю на приданое. А как эти три дня без денег прожить?» Он пожимает плечами: «Займи у матери».

А мне у матери занимать – в кабалу лезть. Но я ему ничего не сказала, стыдно мне стало, думаю, и правда, надо лучше хозяйствовать, ему небось деньги не даром достаются. А тут прибежала я домой, а его брюки передо мной висят и бумажник из кармана выглядывает. Страшно мне стало – сейчас даже смешно об этом вспоминать, а тогда страшно было. Заглянула в бумажник, а там четыре тридцатки да еще по мелочи. «Ах ты ж, думаю, гад!» Так мне тяжело стало. «У матери, говорит, займи», а сам деньги прячет. И все я вспомнила. И как он поздно домой приходит, и как вином от него пахнет. До-обренький такой придет: «Кошечка, кошечка...» Я его пинаю, а он улыбается, завалится на кровать и спит до утра. Только носом свистит, как паровоз, «Ах ты, думаю, гад!» Взяла я этот бумажник: «Я страдаю –

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru так и ты пострадай!» – и спрятала его под буфет. Вернулась на стадион, бегаю, а сама на него посматриваю. Потом мы пришли домой, он переодевается. «Ты, говорю, куда?» – «Да пойду пройдусь». Так буркает: «Пойду пройдусь», – чтобы я не привязалась. «Иди, иди». Он хват за брюки, за карман и аж посерел. Лапает, лапает штанину, пиджак, полез под кровать.

«Ты чего?» – «Да надо». Сорвался и побежал на стадион. Бегал, бегал. Прибегает бледный: «Ты бумажник не видела?» – «Какой бумажник?» – «Мой». – «А что там?» – «Документы».

Ну, стала я с ним искать, жалко мне уже, дуре, его, а сама все еще думаю: «Помучься, помучься еще немного». А потом не выдержала. Он ушел в другую комнату, а я бумажник достала, кричу: «Вот он. Под подстилку подлез, а мы его ищем». Он прибежал, схватил бумажник, а сам, вижу, уже догадывается: «Ты в бумажник смотрела?» – «Нет». Он облегченно вздохнул, сунул бумажник в карман и ушел. Я сказала «нет» – думала, он сам мне во всем повинится. А он ушел гулять. Пришел, я ему и сказала: «Завтра обед готовь себе сам. Я устраиваюсь на работу». – «В чем дело?» – «Сам знаешь в чем. Если нет друг к другу доверия, если ты деньги от меня прячешь – никакие мы не муж и не жена. И как у тебя язык повернулся сказать, чтобы я у матери занимала, когда у тебя денег полный бумажник! Ложись-ка, говорю, на пол, а ко мне больше не лезь».

А у него манера была – как поссоримся, так он сразу одеяло бросит на пол, на одеяло подушку и лежит рядом с кроватью. Сама я ему бросила на пол одеяло, подушку и легла на кровать. Он сопел-сопел, а потом, смотрю, лезет ко мне: «Не хочу, чтоб ты шла на работу. Я тебе всегда буду расчетную книжку показывать». И правда, показывал и деньги утаивал только по мелочи. На папиросы или на кружку пива.

А из дому его все равно тянуло. На свободу! Ирка еще грудная была. Прибегит с работы: «Кошечка, там ребята складчину устраивают. Пойдем?» – «На кого ж я дитя брошу?» – «Мать посмотрит». – «Ты ж знаешь, я ни на кого Ирку не брошу». – «Ну, тогда я сам пойду». И убежит. Или зовет: «Пойдем в кино», – я отказываюсь. Боялась я ребенка оставлять. А он хоть бы что. Я не иду – он сам пойдет. И до того привык сам всюду ходить, что я ему уже вроде не нужна. Рядом со мной по улице не идет – вперед бежит, а я за ним попеваю. Или в трамвай всегда первый лезет. Залезет и идет себе вперед, не оглядывается. Выберет место, а потом смотрит, где я. Выговаривала я ему, выговаривала, а один раз повернулась и пошла в другую сторону. Он в трамвай залез – в кино мы собирались, – а я повернулась и пошла в другую сторону. Пришла к подруге, позвала ее, взяли мы билеты на последний сеанс. Вернулась я домой около часу ночи. Он ко мне: «Ты где была?» А я ему отвечаю: «Я тебе скажу, как ты мне говоришь: „Где была, там меня уже нет“».

Оказывается, он залез в трамвай, оглянулся – меня нет. Он на следующей остановке вылез, побежал назад, опять сел в трамвай, приехал в кинотеатр, думал, я к началу сеанса подъеду, ждал у входа, не дождался и вернулся домой. Бегал, бегал. В милицию звонил, в больницу. Потом ему кто-то сказал: «Видел, как твоя жена с Клавкой по улице шли». Он и психанул. Я вошла, а он на меня: «Ты где была?!» А я ему отвечаю: «Где была, там меня теперь нет». Он бросил на пол одеяло и подушку, не хочет со мной разговаривать. Не разговариваешь – и не надо. Сама я – виновата не виновата – первая с ним, Витя, никогда не заговаривала. А он не выдерживал. Посопит-посопит внизу и лезет ко мне: «Ну хватит, ну довольно».

И еще раз я его проучила. Позвал он меня в кино, я вышла бабе Мане Ирку отвести, вернулась, а его и след простыл. А на улице ребята стоят, курят. Я к ним: «Не видели Николая?» – «Видели. Стоял тут, потом к нему товарищ подошел, они и ушли». Я ждала-ждала, опять к ребятам подошла. А среди них был Саша Перехов, он когда-то за мной ухаживал, жениться на мне собирался. И теперь он мне все предлагал: «Аня, когда мы с тобой поговорим?» Я подошла к ребятам, а Саша мне и предлагает: «У меня два билета в кино. Пойдешь со мной?» Я говорю: «Пойду!» Пошла с ним, храбрюсь, а у самой душа в пятках. Сели мы, свет потух, он меня за руку: «Как ты живешь, Аня? Я слышал, ты несчастлива. Николай все один да один ходит. Люди же видят, говорят». Он мне руку жмет, что-то спрашивает, в лицо заглядывает, а я сижу сама не своя, что там на экране – не вижу. Он меня спрашивает, а я думаю: «Какое мне до тебя дело! Мне бы узнать, где теперь Николай». Вернулась домой, а Николай схватил меня за кофточку. «Кончено, кричит, нечего нам с тобой делать». Схватил вещи в охапку и побежал. Я хочу крикнуть:

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru «Николай!» – а сама молчу, понимаю – крикни, он всегда будет невнимательным, грубым, все ему тогда прощать надо. Смотрю в окно – он подбежал к калитке и ждет, чтобы я позвала его. А я не зову. Смотрю, он поворачивает назад... А один раз с работы не вернулся, всю ночь его не было. Пришел под утро пьяненький. Я ему ничего не сказала, а собралась и ушла на всю ночь к подруге...

– Муля, вы мне об этом уже рассказывали.

– Ага. Пришла к подруге, переночевала у нее. Возвращаюсь, а он лютым зверем на меня. Я ему говорю: «Как ты, так и я. Понял? Ничего я тебе не спущу». И еще мы с ним ссорились, когда умирали его брат и сестра. Я детей увезла за город, к матери, чтобы не заразились, а он раз приезжает и говорит: «Собери детей, Петя умирает, хочет попрощаться. Поедем домой». Я вышла во двор, будто за Ирккой, а сама перевела ее через улицу к соседям, прошу их: «Не выпускайте никуда». Испугалась я – там же весь дом заразный. Вернулась к нему, он спрашивает: «Где дети?» Я говорю: «Детей не дам. Там же зараза. Сама поеду, горшки за твоим братом и сестрой выносить буду, а детей не дам». – «Тогда мы больше не муж и жена». – «Твое дело, говорю, а за детей отвечаю я». Так я ему детей и не дала. Он уехал – не попрощался. А потом все равно вернулся. И все у нас вроде начало налаживаться: дети подросли, я выздоровела после туберкулеза, Николай поспокойнее стал, в семье бывал больше, ругались мы с ним реже, а тут война.

..Мы уже принесли известь. Муля, рассказывая, бегала по дому, и тут вмешалась Ирка:

– Не ври, Муля, что редко с отцом ругалась. Я ж помню – пойдем в город, а ты отца всю дорогу пилишь. По-моему, все воскресенья для отца в пытку превращались. Любил он тебя сильно, прощал тебе все, а ты его пилила и пилила. И все из-за денег.

Муля яростно глянула на Ирку:

– Пилила! Конечно. Пойдем в город. Ирка скажет: «Папа, купи с неба звезду». Он сразу в карман полезет.

– Да брось ты, Муля! И за то, что много на папиросах прокуривает, и чуть ли не из-за спичек пилила.

– Да что ты помнишь! Что ты можешь помнить! Пилила! Пешком под стол ходила! А помнишь, как отец тебя стыдил, что ты никому в доме не помогаешь? «Здоровая девчонка, а мясорубку покрутить не можешь». Ты и сейчас такая.

Ирка высокомерно улыбается. Я знаю, что Муля не выносит этой Иркиной молчаливой снисходительности: «Как ты, Муля, ни кричи – отец любил меня больше всех». Муля и сама часто говорит, что Николай Ирку любил больше, чем Женьку, и даже объясняет: Ирка рано начала читать, много помнила наизусть, хорошо училась. Дед Василь Васильевич, отец Николая, говорил о ней: «Гениальный ребенок». Женьку он не любил. А Ирку любил и мог на целый день разбраниться с Мулей, если она тронет Ирку: «Вам не детей, а чертей воспитывать... Достался умный ребенок глупым родителям».

Все это Муля рассказывает не только потому, что так было на самом деле – она не боится рассказывать и такое, что может быть использовано против нее. Она ничего не боится. «Вы считаете, что Ирка лучше Женьки, что я Женьку больше люблю? И прекрасно. Я вам расскажу, что об этом думали и другие», – так и светится в ее черных глазах. Заканчивает Муля такие разговоры обычно одной и той же репликой:

– А выросли – что Женька скотина, что Ирка. Оба недостойны любви.

– Брось, брось, Муля! – говорит Ирка. – Так ли уж оба?

Муля не отвечает. Она чувствует себя уязвленной. Она ведь хвастается не только своим физическим бесстрашием, но и бесстрашием рассудка. Она бы призналась, что действительно Женьку гораздо больше любит. Но ведь ничем нельзя объяснить то, что она Женьку больше любит.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я делаю всю черную работу: ломаю перегородки, пробиваю в стене окно, рою канаву

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) под фундамент, таскаю воду в ведрах от колонки, – а намечает, где пробить стену, кладет фундамент, поднимает новые перегородки дядя Вася, наш сосед. Дядя Вася сам недавно построился. После войны он работал шофером на Севере, копил деньги на дом. Четыре года назад вернулся, купил завалиющую временку и сразу же пришел к бабе Мане и Муле договариваться: он просил, чтобы баба Маня и Муля разрешили ему поставить одну стену будущего дома на их участке. Дяде Васе не хватало пятнадцати сантиметров земли. Почти все в своем доме дядя Вася делал сам – клал фундамент, настилал полы, поднимал кровлю. Специалистов нанимал только на самую тонкую работу. Построился и заболел. Врачи нашли у него язву желудка. Глаза у дяди Васи утомленные, с желтизной. Он еще не привык к своей болезни, еще очень охотно слушает, что ему о ней говорят, и сам охотно о ней рассказывает.

Муле дядя Вася давно нравится. Она возмущается его женой: «Недотепа, не может за таким мужиком ухаживать!» О дяде Васе Муля говорит с восхищением. И какой у него в руках талант, и какой он сильный и спокойный. Один раз к нему пристал пьяный вздорный мужик: «Давай бороться, давай бороться!» Дяде Васе надоело его слушать. Он взял настырного мужика за шиворот и за штаны и перебросил через забор. Мне дядя Вася тоже нравится, хотя сейчас он меня подавляет своими знаниями и умением. Один раз дядя Вася попросил меня показать, что я пишу. Я дал ему журнал, в котором был напечатан мой рассказ. Дядя Вася вышел во двор, сел на приступки, и вдруг я услышал странное гудение – он читал вслух. Читал так, как требуют в начальной школе, «с выражением». Минут пять, сгорая от стыда, я слушал его серьезное чтение. Потом дядю Васю куда-то позвали, он снял очки, закрыл журнал и ушел. О рассказе он больше не вспоминал.

Дядя Вася говорит о своей болезни:

– Работаю, качаюсь – ничего не чувствую. Даже, думаю, выздоровел. А ночью прилягу – и схвачусь. Я ночью как сторож. Я вам взялся помогать, чтобы не сидеть без работы. Честное слово. Если б ночью можно было работать, я бы работал.

– Вася, – говорит Муля, – вот не поверила бы, что ты можешь заболеть. Такой мужик!

– Я к врачу пришел в первый раз, – говорит дядя Вася, – а он меня спрашивает: «Ты чего пришел? Хочешь на бюллетене погулять? Так и скажи. А то – больной!» Я ему говорю: «Ты соображаешь? У меня времени для отдыха вот так! Работа у меня сменная».

Дядя Вася протягивает Муле курортную карту с диагнозом. Потом передает ее мне и Ирке. Когда мы вежливо возвращаем ему путевку, он медленно складывает ее, прячет в бумажник:

– На работе говорят: «Повезло, на курорт поедешь». Лучше бы не повезло. – Потом он поясняет: – Это у меня пошло на нервной почве. После того, как девчонка под машину забежала.

Несколько месяцев назад дядя Вася впервые в жизни в околосветофорной толчее сбил крылом тринадцатилетнюю девчонку. Он был не виноват – это после недельного разбирательства установила автоинспекция, – но дядя Вася неделю не брался за руль, как-то крадучись пробирался по улице, словно боялся, что сейчас на него укажут пальцем – «убийца». Он перестал выходить на улицу к доминошникам и вообще стушевался. Он не чувствовал себя виноватым, но несчастье его придавило. Он никогда не говорил об этой девчонке (я так и не узнал, сильно ли он ее покалечил), однако желтые подпадины в его глазах появились с того времени. А вообще-то это было удивительно, потому что дядя Вася был уравновешенным, спокойным, много видевшим человеком. Он казался медлительным и в чувствах, и в мыслях, не сразу отвечал на самый простой вопрос:

– Дядя Вася, на работу?

Обязательно остановится, даже если очень спешит:

– На работу.

И тебе станет неудобно, потому что спросил ты мимоходом, не требуя ответа. Так просто вместо «здравствуй» бросил: «На работу?» А сосед остановился, серьезно смотрит на тебя, ждет новых вопросов, а говорить-то вам не о чем. Дома у него



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru четверо детей, а крику никогда не слышно, хотя четыре года они жили скудно, все гнали на строительство. И с женой дядя Вася не ругается, хотя всей улице известно, что они не пара. Бабы жестоко издеваются над ней, удивляются, как дядя Вася до сих пор о ее кости не разбился.

– Поди ж ты, – говорит Муля, – такой мужик, износу тебе, казалось, не будет, а заболел. А жинка твоя – куда уж хуже быть, а скрипит себе, и ничего.

– У нее грудь большая, – говорит дядя Вася после некоторого раздумья. – Мы с Севера вернулись, потому что ей там нельзя было оставаться. И дети стали болеть.

– Я ж и говорю: худая. А ты против своей болезни не пробовал алоэ с медом? Рашпиль с такими мясистыми листьями? У нас на фабрике одна тетка совсем уж кровью на двор ходила. В рот ничего не брала. На курортах была – ничего не помогает. Врачи от нее отказались. В общем, хоть гроб заказывай. А потом один человек ей рецепт дал. Алоэ с медом и водкой. Хочешь, я достану тебе рецепт? И рашпиль у меня трехлетний есть. Скажи, чтобы жена ко мне пришла. Я ей дам, пусть сварит.

Дядя Вася смотрит своими усталыми с желтизной глазами и машет безнадежно рукой:

– Сварит!

И Муля, воинственно забрызганная мелом и известкой, с воинственно выбившимися из-под косынки седыми волосами вдруг срывается:

– Ты извини, Вася, что я не в свое дело лезу, но я зайду к вам, аж с души воротит. Ну можно в комнате прибрать, побелить, почистить, чтобы приятно было войти? Я ничего не хочу сказать – твоя жена умная, начитанная, поговорить с ней интересно, но надо же и руки приложить! И подгорелым у вас всегда тянет. Что она, за кастрюлей уследить не может? Можно больному человеку давать подгорелое?

Страдальческой желтизны в глазах у дяди Васи сразу прибавляется. Он долго молчит, а потом отчаивается:

– А как никакого нет? – говорит он после долгого молчания. – Ни пригорелого, ни другого?

Ирка давно пытается остановить Мулю.

– Муля! – говорит она.

Мне тоже не по себе, но, странно, я замечаю, что дяде Васе этот разговор приятен. Ему приятно, что Муля так близко к сердцу принимает его болезнь, что она так ценит его, он не возмущен тем, что она осуждает его жену. Дядя Вася подробно рассказывает Муле, как плохо готовит его жена. Принес он недавно с базара мяса хорошего, птицу – сам ходил, не стал ее дожидаться, готовь только. Так она приготовила – в рот нельзя взять.

– Врач говорит: «Не пей!» А я пошел, взял двести грамм и колбасы – вот и вся диета.

– А ей ты сказать не можешь! – возмущается Муля.

Дядя Вася надолго замолкает и вдруг решается:

– Дети взрослые, в люди я их вывел, а если так будет продолжаться... – И дядя Вася умолкает.

Потом они опять долго говорят с Мулей о дяди Васиной язве, о способах ее лечения. Недавно дядя Вася вез в такси – он таксист, хотя по внешности кажется шофером тяжелого грузовика, – врача-хирурга.

«Я, говорит, – хирург, и моя жена – хирург. Мы оба хорошие хирурги. Так что, говорит, вы послушайте моего совета. Никакому врачу не давайте делать операцию, пока вашей язве не будет трех лет».

– Это что же, правило такое, ждать трех лет? – спрашивает Муля.

– А кто его знает. Наверно, правило... «А если, говорит, вам совсем плохо будет, вы позвоните мне. Консультацию или совет мы вам всегда дадим. Вы, говорит, не подумайте. Денег мы с вас не возьмем».

Дядя Вася боится операции, которую ему недавно рекомендовали сделать, и поэтому совет подождать три года ему явно по душе.

Работает дядя Вася так же медленно, как и говорит. Руки у него действительно очень сильные. Такими руками можно перебросить через забор пьяного соседа. А сердце слабоватое. Я это заметил, когда дядя Вася помогал нам сгружать камень-песчаник. Мы торопились – шофер подгонял нас, и дядя Вася быстро запыхался. Сейчас он работает, принаравливаясь к своей одышке. Медленно прилаживает доску, неторопливо делает разметку, закуривает – табачный дым вдыхает с прихрипом, после каждой затяжки к лицу его приливает желтоватый никотиновый оттенок, – и точно по разметке отпиливает кусок. В нашей старой хате дядя Вася все знает, как в своей. По недоступным моему пониманию признакам он угадывает под полом и на потолке гнилые балки, знает, где их можно заменить, а где нельзя. Показывает Муле, где потолок угрожает рухнуть, и предлагает способ укрепить его. Муля платит дядя Васе только за то, чтобы он уложил нам фундамент пристройки и поставил новые перегородки. Но дядя Вася многое делает сам. И делает это даже не из соседской доброжелательности, а по более сложным причинам. Из-за привычки все делать основательно, из-за того, что ему приятно показать Муле свои знания, свою строительную эрудицию, по мужицкой рабочей добросовестности, потому, что между ним и домом, который мы перестраиваем, возникают какие-то живые связи. Нечто такое, будто дом этот – живое существо, перед которым дядя Вася чем-то обязан. Во всяком случае дядя Вася по собственному желанию лезет на чердак, укрепляет старую кровлю. Когда у нас не хватает доски, плинтуса, он молча идет домой и приносит свою доску:

– Потом рассчитаемся.

Они часами говорят с Мулей об этом доме, о его стенах, о том, что давно уже надо менять позеленевшую от лишайника старую интернитовую крышу. И когда они говорят о доме, о людях, строивших его, оба оживляются, у Мули начинают восторженно светиться ее черные, непримиримые глаза.

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дядя Вася в срок закончил свою работу. Каменщики, нанятые Мулей, за три дня возвели стены пристройки, наступила пора класть печку. С этой печкой мы хлебнули горя прошлой зимой. Несколько раз Муля ее прочистала, лазила на чердак, выбивала кирпичи над заслонкой и под заслонкой, вычищала из дымохода по ведру сажи, а печка все равно кисло и удушливо дымила. За зиму я так наглотался ее дыму, что, как только печку разобрали, сложили в комнате прокопченные кирпичи, старый короб, чугунную плиту и вьюшки, – я, едва вошел в дом, тотчас узнал их по удушливо-кислому запаху. Печника Муля искала с пристрастием. Нашла здоровенного, небритого дядьку. Утром, когда он начал работать, выставила на стол водку.

– Печника сразу надо расположить, – сказала она мне, – а то построит такое – рад не будешь. Сделает вроде бы все правильно, а уйдет – печка без него не горит.

Когда я вечером пришел с работы, печка уже стояла. Муля, перепачканная глиной и известкой, хлопотала возле нее.

– Ага, Витя, – сказала она мне, не обращая внимания на иронические подмигивания Ирки, – а я с печником целовалась. – Глаза у Мули возбужденно блестели. – Скажи ты, на улице тишина, ни ветерка, а он поджег бумагу, положил ее на короб, а ее аж ветром потянуло, загудела вся. «Тащи, говорит, тетка, дрова и уголь; как доменная печь гореть будет». А я его чмок в щеку! Он только глазами вот так. – И Муля захохотала, показывая, как изумленно тарасился небритый печник, когда она его поцеловала в щеку.

Потом Муля привела штукатура. Какого-то набычившегося, остолбенелого паренька лет шестнадцати-семнадцати. Он долго стоял посреди комнаты и молчал. Предполагалось, что он осматривает стены, прикидывает, сколько материалу для них потребуется. Но скоро я заметил, что он просто смотрит в одну точку и чего-то ждет. Причем даже не делает вида, что осматривает стены, – смотрит куда-то вниз.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru)

– Сколько тебе алебастру потребуется? – спросила Муля. – Два мешка хватит?

Паренек никак не отреагировал. Даже не показал, что услышал.

– У Филоновых ты сколько истратил?

Филоновы – это наши соседи, живущие домов через пять по улице, у которых паренек штукатурил стены. Паренек немного оживился:

– Да у них много всего было.

С тех пор как он вошел, он не сменил позы, и выражение сбыченности не сошло с его лица. Как будто бы его обижали еще до того, как он вошел сюда.

– А ты давно штукатуром работаешь? – спросила Муля.

Паренек еще упорнее уставился в какую-то точку на полу.

– Тебя как зовут?

– Толя.

– А отец и мать у тебя есть?

Толя не ответил.

– А чего ты все время молчишь? Ты деревенский?

Толя странно качнул головой или просто сглотнул, но не ответил.

– А сколько ты возьмешь за две комнаты с нас?

Толя назвал цену, не сводя глаз со своей точки на полу.

– А материал твой?

– Ваш.

Это была очень высокая цена, и я думал, что Муля тотчас прекратит всякий торг. Но Муля сказала:

– А сколько дней ты будешь работать?

– Три дня.

– За три дня ты один не справишься. Вон у дяди Васи, соседа нашего, двое старых штукатуров штукатурили да еще двое им приходили помогать. Только-только за три дня справились. Так они ж опытнее. А ты, наверно, недавно строительное училище окончил. У тебя сколько классов образование?

Паренек опять качнулся и сглотнул. И вдруг ответил. Вдруг – потому что мы уже привыкли к его непонятному молчанию.

– Четыре класса.

– А сколько тебе лет?

Толя опять не ответил. Муля пыталась с ним поторговаться, но он смотрел в свою точку на полу и молчал. Муля назвала свою цену и спросила:

– Договорились?

Толя отрицательно покачал головой.

– Зачем тебе столько денег?

– Костюм хочу купить.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Но у нас нет столько денег.

Толя не ответил.

Разговор этот меня уже раздражал. У нас действительно не было столько денег, не было столько материала, чтобы доверить этому мальчишке, не было столько времени, чтобы дожидаться, пока он сделает свою работу. У нас все было на пределе – и деньги, и нервы, и время, а тут этот набывшийся, остолбенелый чудак, который даже на вопросы не отвечает то ли от крайней глупости, то ли от крайней деревенской застенчивости и нерасторопности. Но глупость ли это, нерасторопность ли – нам все равно. Работать он не сможет. И вдруг Муля сказала:

– Ладно. А когда ты придешь работать?

– Могу завтра после смены.

– Приходи.

Я хотел вмешаться, но отошел в сторону. Муля тут главная. Я ждал, когда наконец этот парень сдвинется со своего места и уйдет. Но он стоял такой же остолбенелый и чего-то ждал.

– Может, поешь? – спросила Муля. – Особенно у нас ничего нет, но суп и помидоры есть.

Она посадила Толю за стол. Он снял шапку, положил ее на колени, молча ждал, пока она нальет, молча ел. Потом Муля пошла его провожать к трамвайной остановке. Вернулась она минут через пятнадцать.

– Удалось вам разговорить его? – спросил я.

– Ага. Детдомовский он. Ни отца, ни матери.

– Жаль, конечно, – сказал я. – Да штукатур он, видно, плохой. Зачем он нам?

– Пусть работает, – сказала Муля.

– Пусть работает, – согласилась Ирка.

– Живет в строительном общежитии, – сказала Муля. – Говорит, хорошее общежитие. Только ребят-обидчиков много.

Как я и думал, Толя оказался плохим штукатуром. Замес у него получался слишком густым, штукатурку он клал таким толстым слоем, что наших скудных запасов едва хватило на одну комнату. Делал он все медленно, и к концу пятого дня у него еще было полно работы. Да и поворачивался он как-то так неуверенно, что казалось, сам не знает, тот ли это замес, столько ли нужно алебастру. Если Муля говорила: «Толя, ты же мало насыпал песку», – Толя сбывчивался и остолбенело глядел в свой погнутый алюминиевый таз. После каждого такого вопроса ему нужно было время, чтобы прийти в себя и продолжать работу. Однако это не значило, что он соглашался с Мулей и досыпал в свой таз песку. Он просто ожидал, пока его оставят в покое. Потом он опять брал из таза замес, ляпал его на стену, и все шло по-старому. Медленно продвигалась работа у Толи еще и потому, что, плотный и коренастый, он был невысокого роста. Чтобы дотянуться в нашей хате до потолка, ему приходилось ставить на стол табуретку и все это сооружение двигать каждый раз, когда надо было перейти на метр в сторону. Но Толя как будто бы и не спешил. Вечером, закончив работу, подолгу не уходил от нас: медленно ел. Муля как-то у него спросила:

– У наших соседей тебя лучше кормили?

Толя сказал:

– Лучше. Там жирно едят.

Поев, он долго сидел, сложив руки на коленях. По-прежнему много молчал, долго раскачивался, прежде чем ответить на простейший вопрос, но все же оттаял, улыбался, а иногда сам задавал неожиданнейшие вопросы.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

- Маленького ждешь? – спросил он у Ирки.
- Толя, а как ты догадался? – изумилась Ирка.
- А живот большой.

Вначале меня томили поздние Толины сидения – он засиживался до полуночи, – но потом я перестал обращать на него внимание, ложился спать и, засыпая, слышал, как Муля о чем-то разговаривала с Толей. Вообще-то я слышал только Мулин голос, но, наверно, Толя тоже что-то говорил, потому что Муля каждый раз сообщала о нем все новые и новые подробности. Отец Толи погиб на фронте, а мать убило во время бомбежки. Она бежала с Толей на руках в бомбоубежище, и осколок убил ее. У Толи есть две сестры, они тоже воспитывались в каких-то детских домах, сейчас старшая вышла замуж, зажила своим домом и разыскала Толю и вторую сестру. Приглашает приехать погостить...

На следующий день Толя опять двигал по комнате стол с табуретом, зажмурившись, ляпал раствор на потолок и растирал его дощечкой. А Муля ему говорила:

- Толя, а вон там ты пропустил! Вон-вон там! Да ты обернись!

Толя медленно поворачивался:

- А-а...
- Толя, а куда ты денешь деньги? Костюм купишь? А какой же ты хочешь костюм? Ты подожди, мы хату отремонтируем, я с тобой пойду в магазин, а ты деньги пока положи на сберкнижку. Ты сразу положи на сберкнижку, а то ребята увидят и заберут.
- Нее...
- Скажут, пойдем выпьем. Ты не пьешь? Ты не пей... А столовая у вас в общежитии есть? Там дешево? А кто тебе стирает? А сколько стоит в вашей прачечной постирать рубашку?..
- Толя, – вмешивалась Ирка, – скажи Муле: «Муля, не учите меня жить».

Толя медленно раздвигал губы – улыбался.

- Дочка у тебя хорошая, – говорил он Муле.
- Красивая?
- Не-ет.
- А чем же хорошая?
- Простая.
- Толя, а тумбочка у тебя есть? Я к тебе приду в общежитие, посмотрю, как ты живешь. Может, тебе постирать надо чего-нибудь? Ты не стесняйся.

Никогда Муле не удавалось так подробно поговорить с нами о наволочках, простынях, одеялах...

Через неделю Толя все-таки закончил работу. Муля собрала ему узелок и проводила до трамвая. Я думал, что на этом наше знакомство с Толей-штукатуром закончилось, но в следующую субботу он постучал к нам в окно. Я вышел. На Толе был новый черный дешевый костюм. Ворсинки из этого костюма торчали, как из третьесортной оберточной бумаги. Сидел он на Толе нелепо, был он новый-новый, ни одна ворсинка не успела на нем обмяться, и от этого Толя выглядел необычайно торжественно.

- Вот, – сказал Толя, – к вам пришел.
- Входи, – сказал я, стараясь припомнить, не забыл ли Толя у нас какой-нибудь свой инструмент, расплатилась ли Муля с ним окончательно – чего ради молодой

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
парень в субботний вечер из центра города забрался на нашу окраину?

Толя вошел, сел на стул и сложил руки на коленях.

Так он просидел долго, изредка отвечая на Иркины и мои вопросы, а потом сам спросил:

– А где мать? Ну, Муля?

– Она сегодня во второй смене, – сказала Ирка, – ты к ней пришел?

– Да нет, – сказал Толя, – я вообще пришел. В гости.

Тогда Ирка захлопотала. Накрыла стол, посадила Толю, сама села. Я ушел в другую комнату, а они долго разговаривали.

Толя приходил еще несколько раз. Придет под вечер, сложит руки на коленях и сидит часа два. А потом исчез – уехал к старшей сестре.

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Иногда к нам приходят Женькины товарищи посмотреть, как идет наше строительство, узнать, что пишет Женька, – демобилизовавшийся из армии Валька Длинный и Вася Томилин, отец которого когда-то так растревожил Женькин класс.

Валька Длинный приходит занимать деньги и поменять книги в Иркиной библиотеке. Деньги ему нужны на выпивку. Он об этом прямо и говорит:

– Теть Аня, займите пятнадцать рублей. Честное слово, я уже оформляюсь на «шарики». С первой же полочки отдам. Выпить хочется.

«Шарики» – расположенный в нашем районе шарикоподшипниковый завод.

– Да откуда ж у меня деньги! Ты ж видишь – строительство! Сами в долги залезли. Не известно, как расплачиваться.

– У соседей займите.

– Я уже у всех соседей занимала.

– А вы у других.

Длинный нагл неотступно. Он знает, что я жду не дожусь, когда он уйдет, что я против того, чтобы Муля занимала ему деньги. Но меня он не замечает. «Я сюда ходил, когда тебя тут и в помине не было».

– Теть Аня, у бабки нет? Пенсию она получила?

– У какой бабки?

– У Мани.

– Глаза твои бесстыжие! – возмущается Муля. – Из бабкиной пенсии тебе на выпивку!

– А у Нинки?

И вдруг он улыбается. Лицо у него умное, и улыбка вначале кажется приятной. Но потом она будто застывает.

– Ирка, займи денег.

Это он обращается к Ирке, игнорируя меня.

– У нас денег нет, – говорит Ирка, – мать же тебе сказала. Да и были бы – я бы тебе на выпивку не заняла.

– Нельзя?

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Нельзя.

Валька опять поворачивается к Муле:

– Тетя Аня, сходите к соседям.

И Муля, чертыхаясь, проклиная всех пьяниц на свете, все-таки идет к соседям занимать Вальке деньги.

– Я бы не пошла, – говорит Ирка.

Длинный поднимается и переходит в нашу комнату. Теперь не заметить меня нельзя, и он снисходительно кивает мне.

– Дай еще что-нибудь почитать, – говорит он Ирке. Читает Валька много. Берет по пять-шесть книжек.

Возвращает их в невыносимом состоянии – засаленными, захватанными грязными пальцами, с сажистыми следами от кастрюли или сковородки на обложках. Ничуть не смущаясь, объясняет:

– Мать у меня книг не читает, неграмотная. А как-то использовать книги надо? Она и использует.

Живет Валька даже не на окраине, а за окраиной. Родители его построились так далеко, что у них в доме несколько лет электричества не было. Столбы электросети туда подвели недавно, когда к Валькиному дому подошла улица.

– Свет у вас в доме уже есть? – спрашивает Ирка. Длинный кивает. Он сидит в раздражающей меня позе, широко расставив ноги, загородив ими узкий проход между столом и шкафом. Захочешь выйти из комнаты – проси его подвинуться. Сам Длинный не пошевелится, хоть два часа стой молча перед ним.

– Говорят, – спрашивает Ирка, – ты плохо относишься к своей сестре? Притесняешь ее?

Валька презрительно щурится. Его сестра работает кондуктором на трамвае. Я ее часто вижу. Ирка говорит, что она очень хорошая девчонка. Умная, работающая. В школе хорошо училась. И дома она того же Вальку обстирывает, обшивает, а он кричит на нее, а иногда и колотит. Вот и сейчас щурится: «Сестра!» Ирка закипает.

– Муля, – кричит она в соседнюю комнату, – ты Вальке денег не давай.

Длинный усмехается. Он непробиваемо самоуверен.

– Интересно, – спрашивает Ирка, – что такие типы, как ты, вычитывают из книжек? Ты же много читаешь. Или ты просто книжки с собой таскаешь? Поносишь, поносишь и вернешь?

Книги Валька читает серьезные, детективами не интересуется, а спросишь, понравилось ли, – презрительно усмехнется и промолчит. Разговаривать с нами о книжках Длинный считает бесполезным. Я – газетчик, Ирка – преподаватель. Людей наших профессий Длинный презирает. Заранее известно, что мы похвалим, что обругаем.

Правда, с полгода тому назад, когда Валька демобилизовался и собирался поступить на филологический, он приходил к Ирке советоваться. Тогда он внимательно слушал ее, был мягким и податливым. Даже со мной здоровался и разговаривал и с некоторым интересом слушал, что я ему говорю.

В университет он не поступил. Желание это в нем почему-то быстро перегорело. Теперь он приходил к нам только для того, чтобы занять у Мули денег. И еще он приходил для того, чтобы вот так посидеть, перегородив длинными ногами выход, чтобы, не замечая меня, поговорить с Мулей и Иркой, чтобы накурить в хате. Валька Длинный на чем-то удерживался, откуда-то соскальзывал, и этому «чему-то» он бросал одному ему понятный вызов...

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
Вася Томилин иногда приходил вместе с Валькой Длинным. Лицо у Томилина сонно-серьезное, и голос тоже сонно-серьезный. Я ни разу не видел, чтобы Томилин улыбнулся. Если Длинный сострит, Томилин вздохнет и терпеливо переждет, пока все вернутся к серьезности. В армию Томилина не взяли по болезни – аппендицит он, что ли, вырезал. Выписался из больницы и поступил в мастерские «Мореходки», три месяца поработал слесарем и стал курсантом. Томилин женат. Женится он, едва окончив десять классов.

– Он ее заговорил, – усмехался Длинный. – Он любого может до смерти заговорить.

Вася вздыхает и ждет, пока мы перестанем улыбаться. Потом, обращаясь в основном к Муле, продолжает своим сонно-серьезным голосом:

– Ага... Питание трехразовое. Утром каша пшенная или перловая. Или из сечки. На растительном масле. Компот из сухофруктов или чай. Хлеба сколько хочешь. Дежурный по столу возьмет в хлеборезке и принесет. И сливочного масла двадцать пять грамм к чаю. Хочешь – на хлеб намажь, хочешь – в кашу положи. Я больше люблю на хлеб. А есть – бросают в кашу...

– А домой вас отпускают? – перебивает Длинный.

– Мы на казарменном положении, – объясняет Томилин. – У нас иногородних много. Им на воскресенье отпуск в город дают. А я договорился, чтобы меня с субботы на воскресенье отпускали домой ночевать.

– К молодой жене?

Вася вздыхает, лицо его становится еще более сонным.

– Значит, она ждет тебя от субботы до субботы? – продолжает Длинный.

– Ничего, подождет четыре года, – вступается за Томилина Муля. – Другие дольше ждут, и ничего. Правда, Вася?

Томилин кивает.

– Еще молодая, – серьезно соглашается он. – Может ждать.

Тут не выдерживает даже Муля. Однако Томилин ничего не замечает. Тем же монотонным, усыпляющим голосом он продолжает рассказывать:

– Спальни чистые, на восемь человек. Простыни, пододеяльники и наволочки меняют каждую субботу. Форма парадная и рабочая роба. Парадная на мне, а рабочая из фланельки...

Удивительно для своих девятнадцати лет видит Томилин мир. Если костюм, то обязательно из какого материала, сколько стоит метр. Если дом, то какая кухня, коридор, сколько метров в комнате. Дома вообще, костюмы вообще для него не существуют. И «Мореходку» свою он тоже делит на квадратные метры, учитывает высоту потолков, подсчитывает стипендию, прикидывает, во что бы ему могли обойтись такое вот трехразовое питание, простыни, которые меняют каждую неделю, положенные по форме шинель и бушлат, если бы он все это покупал на свои деньги. Он уже знает, сколько ему придется плавать, прежде чем он сможет попроситься на берег, какая у него будет пенсия и в каком возрасте он на нее сможет рассчитывать. Далекие страны, чужие моря, трудные походы – все это его не волнует. Вернее, не волнует романтика дальних походов, чужих стран и южных морей. Он даже не понимает меня, когда я спрашиваю его об этом. Он говорит:

– Я уже прикидывал. Если пойти на путейское отделение – тоже никогда дома не будешь. А механики везде нужны: и на флоте и на берегу. Поплаваю три года и перейду на берег.

– А зачем тогда было идти в «Мореходку»?

И Вася опять терпеливо объясняет своим монотонным голосом: стипендия, питание, специальность хорошая, в армию из училища не берут.

– А кто тебе посоветовал пойти в «Мореходку»? – спрашивает Муля. – Ты же не



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru собирался становится моряком.

– Знакомый отца в мастерских «Мореходки» работает. Предложил отцу: «Давай твоего сына в мастерские устрой. Работать он умеет. А присмотрится, дисциплина ему в училище понравится, специальность – добьемся, чтобы его зачислили курсантом».

– Ну, и понравилась дисциплина? – спрашивает Муля.

– Понравилась.

– Экзамены ты сдавал?

– Сдавал, – кивает Томилин. – Подготовился и сдавал. Не строго спрашивали. Меня уже знали, я три месяца хорошо в мастерских работал.

И Томилин перечисляет, что ему приходилось делать в мастерских «Мореходки», какие приборы ремонтировать. Он действительно многое умеет. Он слесарь-самоучка, радиотехник-самоучка, электрик. Нам он взялся починить старый радиоприемник, половину воскресенья копался, разложив внутренности приемника на столе. И починил.

Уходят они вдвоем – Валька Длинный и Вася Томилин. Вася долго прощается.

– Тетя Аня, будете писать Женьке, передавайте от меня привет. Я и сам ему напишу, а пока передайте от меня привет.

Валька Длинный, презрительно щурясь, ждет, пока он выговорится, и уходит не прощаясь.

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я родился в центре города, детство мое прошло на асфальте. Даже лужа, в которой мы пускали корабли, была на асфальте. С детства я привык презирать немогущую одноэтажную окраину и немного опасаться ее. И сейчас я ее по-прежнему не люблю. Я с удовольствием уезжаю по утрам на работу и с тяжелым сердцем возвращаюсь вечерами домой. Ехать мне из центра далеко. Пять остановок трамвай делает еще в самом городе, переезжает по путепроводу через железную дорогу и попадает на окраину. А окраина тянется, тянется – и конца ей не видно. Если сесть не на трамвай, а на пригородную электричку, то такой вот зеленой одноэтажной окраиной можно проехать километров шестьдесят. Вначале это будет окраина нашего города, потом начнутся пригороды. Пригороды нашего города перейдут в пригороды соседнего, районного города, а там потянется окраина этого соседнего города...

Трамваем я доезжаю до остановки, которая называется «Школа», выхожу у водопроводной колонки, прохожу мимо длинного кирпичного дома трех братьев-уголовников по кличке Слоны, мимо дома Феде-милиционера, потом – мимо шлаконаливного домика, который за три года поставил одноногий силач и красавец Генка Никольский. Свой дом он строил сам. Помогала ему только его жена. Генка внизу, на тротуаре, готовил смесь из цемента, шлака и песка и подавал ведра жене, а потом лез на леса и вручную трамбовал медленно вырастающую стену. О том, как медленно она росла, видно по границам ясно отпечатавшихся слоев. Уж очень тонки эти слои. Три года я ходил от трамвайной остановки мимо Генкиного строительства, и мне казалось, что строительству этому не будет конца. А вот дом уже стоит, и крыша на нем есть, и свет электрический в окнах горит.

В большом многоквартирном доме, в котором я жил до войны, соседи мало знали друг о друге. Даже те, которые жили в одной лестничной клетке. А тут, на одноэтажной улице, я невольно все узнаю о своих соседях. Я знаю их профессии, их жизненные истории. Я не могу точно сказать, каким путем я все это узнаю, я ведь даже не стараюсь ничего узнать – просто вся эта улица какая-то открытая. Люди по нескольку раз на день приходят к водопроводной колонке, сталкиваются на трамвайной остановке. Если где-нибудь начинается строительство, то так или иначе о нем узнает вся улица. Здесь есть свои специалисты – электрики, печники, каменщики, кровельщики. Они и побывали у нас, пока мы перестраивали нашу хату. И вся улица, конечно, знает, что делается у нас в хате. И то, что Ирка беременна, и то, что перестройку мы затеяли в ожидании ребенка, и то, что «нет мужчины в доме», и что через год из армии вернется Женька, и как у нас тогда все пойдет – еще не известно, потому что и с пристройкой нам в одной хате будет тесно.

«Женька придет из армии, Нинкин Пашка вернется, – говорят наши соседи, – кому-то

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) придется строиться во дворе. Ставить новую хату. В старой теперь уже не поместиться». И Муля тоже – еще не кончено это строительство – уже думает о том, как вернувшийся из армии Женька построит себе хату, мы с Ирккой выберемся на новую квартиру, и она, Муля, наконец заживет одна.

– Поверишь, Витя, – говорит она мне, – так уже хочется пожить для себя. Я надеялась, отправлю Женьку в армию, Ирка уедет на работу, я начну жить сама, а ничего пока не получается.

Правда, Муля уже делала попытку зажить отдельно от нас. Оставить нам хату, строительство, которое ей «вот как осточертело», и выйти замуж.

Вообще-то разговоры о замужестве в нашем доме ведутся давно. У Мули есть подруга, которую Муля хочет пристроить. Время от времени Мулина подруга приходит к нам, приносит бутылку портвейна или вермута. Муля отрывается от своих вечных стирок, приборок, штопок, кричит ей:

– Садись, Зина, я сейчас закончу. Или, хочешь, сходи к бабе Мане, проведай, а я тут быстренько.

Зина здороваается с нами, говорит о себе насмешливо:

– Невеста пришла, – подмигивает Ирке: – Мать все крутится? – И отправляется к бабе Мане проведать.

Муля снимает фартук, старое платье, в котором она стирала, вытаскивает из шкафа свой праздничный переделанный из Иркиного костюм, наскоро причесывается перед маленьким зеркалом, накрывает поверх старой, липкой клеенки – Муля чистоплотна, да вода за квартал! – свежую скатерть. Жестко накрахмаленная, долго пролежавшая в шкафу скатерть топорщится на сгибах. Муля придавливает сгибы тарелками, достает из своих похоронок бутылку водки, банку шпрот, зеленого горошка, баклажанной икры, – когда бы Женя из армии ни вернулся, у Мули все готово! – извлекает откуда-то кусок копченой колбасы, которую не так просто купить в наших магазинах, голландского сыру, ставит соленья: квашеную капусту и огурцы, маринованные яблоки и помидоры – и стол получается красивым. Мулина мать, глухая бабка, чистит картошку, а Муля бежит к Мане приглашать Маню, Нинку, Зину к столу. И женщины собираются вместе. У Мули блестят черные глаза, и во всем ее облике, в движениях, в горячечной быстроте речи есть что-то хмельное, хотя Муля еще не выпила ни капли и пить будет немного. Она любуется своим столом, тем, что может его так накрыть. Говорит:

– Жаль, нет селедочки. Знала бы, купила б сегодня. Шла мимо магазина, думала: «Надо купить селедки. Ирка селедку любит». А потом прикинула – капуста есть, огурцы, помидоры. Думаю, обойдемся, и не купила. А надо было бы купить...

Баба Маня тяжело приподнимается со стула:

– Схожу, у меня, кажется, селедочный хвост с головой остался.

На Маню машут руками:

– Сидите! Куда еще селедку! Прекрасный стол! И помидоры, и огурцы, и синенькие! Королевская еда.

Муля еще раз радостно и гордо оглядывает свой стол – сама добыла, сама делала, – но на вопросительный взгляд бабы Мани никак не отвечает. И баба Маня все-таки поднимается и идет на свою половину за селедкой.

– Завивку тебе надо сделать, – говорит Зина Муле, – и зубы вставить. Золотые.

– Куда мне! – возбужденно смеется Муля. – Тут только со стройкой справились, столько долгов! За зубы деньги надо платить! – И вдруг вспоминает: – У нас на фабрике механик есть, да ты его знаешь, Дмитрий Васильевич, черный такой. Вчера иду с работы, он догоняет меня, берет за локоть: «Аня, – он меня по старой памяти Аней зовет, – вставишь зубы, еще такой красивой женщиной будешь. И завивку сделай. Что это ты на себя махнула рукой? Ты, говорит, еще совсем молодая и интересная женщина». А я смеюсь: «Что вы, говорю, Дмитрий Васильевич. Я через два месяца бабушкой буду».

– Бабушка! Такую бабушку да на праздничек! – И Зина удивляется: – Жив еще Дмитрий Васильевич?

– Жив, – говорит Муля и смотрит на женщин: – Водочки или сладкого?

– Давай водки, – говорит Зина и ухарски машет рукой, – что нам, молодым, вино! Только в горле пощекотать. Давай водочки.

– Я не пью, – прикрывает ладонью стопку баба Маня. – ты же знаешь. Ты лучше матери своей налей. Она любит водочку. А я так, посидеть за компанию.

– Да что вы, мама, – говорит ей Муля, – вот и посидите за компанию!

– Выпейте, Мария Трофимовна, – просит Зина, – хоть поедите с аппетитом.

И баба Маня отнимает ладонь от своей стопки. Присутствие невесты и на бабу Маню действует возбуждающе.

Женщины выпивают водку, и у них начинается разговор, за которым я не успеваю следить, потому что в разговоре этом встречается много имен, которых я не знаю. Какие-то Вани, Пети, Маши – старые знакомые Мули, Зины, бабы Мани, участники каких-то физкультурных кружков, ученики школ, в которых учились Муля и Зина, мальчишки, которые ухаживали за ними, парни, к которым они бегали на свидание. Оказывается, Зинин муж был приятелем Мулиного Николая, только погиб он не в сорок четвертом году, как Николай, а в самом начале войны. Сгорел на истребителе, защищая Киев. И любовь у Зины была еще короче, чем у Мули. В сороковом году свадьба, в сорок первом похоронная. И детей у нее нет и не было. И ничего нет в память о погибшем муже, даже фотографии. Даже с фотографией как-то не успелось. И родственников у нее после войны не осталось. Так одна и живет. Зарабатывает неплохо – работает в каком-то вредном цехе, – все у нее есть, а живет одна. И замуж ей хочется выйти не просто так, а за вдовца с детьми. Чтобы обязательно дети у него были. Своих у нее уже, наверно, не будет, стара, а за детьми поухаживать очень хочется. Вот Муля и решила ее сосватать своему однорукому брату Мите, когда у того умерла жена.

Сватовство это ни к чему не привело, хотя Муля была энергична, и молодые вначале понравились друг другу. Митя с сыном приезжал в город, Зина побывала у него в поселке, а потом переписывалась с ним, посылала ему свои фотографии, ждала, пока Митя отремонтирует хату и скажет свое последнее слово. Но однажды Митя написал Муле, что Зина ему по душе, однако нашел он себе молодую и хочет последние годы пожить с молодой. Свадьба расстроилась, Муля хотела спешно ехать к Мите, усюветить его. Написала ему сердитое письмо, но не отослала, Зина ее отговорила.

– В невестах побыла, и то хорошо, – сказала она. – Пусть человек живет, как хочет. Давай лучше выпьем, подружка.

И они еще несколько раз собирались, чтобы выпить вина и водочки. Дурачились, кричали свадебное: «Горько!» Вспоминали военные годы, годы своей страшной, неудавшейся молодости, но вспоминали не страшное, а смешное, или, вернее, вспоминали страшное так, чтобы оно казалось смешным, а Муля, как всегда, хвасталась, хвалила себя и требовала подтверждения и у бабы Мани, и у Зины.

– Скажите, мама, – говорила она бабе Мане, – другой такой работницы нет. Помните, во время менки за шесть верст мешки таскала? Ночью иду, сама себя пугаю, трава шелестит, кукуруза совхозная в темноте под ветром трещит, а я бегу, волочу и каждый день опять навстречу страху.

– Правда, правда, – кивала баба Маня. – Работница ты – другой такой поискать. Себя ты не жалеешь. Это я всегда говорила. И сейчас скажу. Не ужились мы с тобой, характер у тебя тяжелый. И Николаю с тобой было тяжело, ела ты его, зудила, а работница ты хорошая.

– Скажете, мама! Жизни не было! Может, скажете, не любил он меня?

– Зачем же? Любил. Это в книжках только такая любовь бывает, как он тебя любил.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru Баба Маня правдива правдивостью старости, которой нечего скрывать, нечего бояться, и Муля удовлетворенно кивает. Тяжелый характер она не считает недостатком. Она опять рассказывает, как ей приходилось, как она добывала продукты детям, как работала на восстановлении школы, которую разрушили немцы. Я слушаю и не могу назвать ее рассказы хвастовством, и никто, я вижу, не считает Мулю хвастуньей. Ни одна женщина, сидящая за столом. Все они слушают ее с сочувствием: и баба Маня, и Зина, и Нинка, и Ира. Лишь глухая бабка, Мулина мать, вопросительно смотрит на всех замаслившимися от водки глазами, старается понять, о чем разговор, и бессмысленно дробненько смеется, когда смеются все.

– Кушайте, кушайте, – говорит она тогда.

Глухая бабка любит гостей. Когда приходят гости – появляется водочка или вино, а глухая бабка любит выпить. Муля опять рассказывает что-то воинственное о себе, и я вдруг понимаю, почему ее так тянет к этим рассказам и почему с таким сочувствием ее слушают и баба Маня, и Нинка, и Зина. Ведь так тяжело и ей и им было и так много сил потребовалось, чтобы это тяжелое победить, так неужели же об этом не узнают люди?

И Муля рассказывает, как после немцев она расчищала сад. Немцы ушли, оставив половину деревьев поломанными, въезжали бронетранспортерами с улицы прямо в сад, ломая забор, ломая деревья. Маскировались от наших самолетов. Десятка полтора пней после них осталось, и все пни Муля выкорчевала сама:

– Рублю его топором, подсекаю корня, аж зайдусь от злости. Целый день на работе, а вечером в саду. Дергаю, дергаю проклятого, а он не поддается, я его опять рубить. Упаду на него без сил, а все-таки выкорчую...

В Мулиных рассказах вообще много такого: «...Похватала я мешки, покидала в машину со злости, а домой приехала, хочу поднять мешок и не могу. Сил не хватает. Как, думаю, я его могла поднять? Скажи ты, злость какая».

И очень она любит рассказывать ужасные истории, свидетелем которых была. Раз пять она уже рассказывала мне, как в самый первый день, когда в город вошли немцы, сгорела женщина, мать троих детей. В школьном дворе стояли брошенные нашими бочки с бензином. Бабы растаскивали бензин, и на одной из женщин почему-то загорелось платье – искра, что ли, на него с соседнего пожара попала. А другая баба, стоявшая рядом, растерялась и, желая потушить огонь, плеснула на женщину из своего ведра. А в ведре-то был бензин... Муж у той женщины был дома, в армию его из-за болезни сердца не взяли. Остался он один с тремя малолетними детьми. Голодали они, а сердечнику этому труднее всего было воду за три километра из реки носить. Тащит он, задыхается, одно ведро, а на дороге его немец остановит, отберет воду да еще канистру даст – тащи еще. Потом этот человек уехал с бабами на менку и так и не возвратился. Пропал где-то. За детьми его соседи смотрели, подкармливали, а когда пришли наши, отдали их в детский дом. Младший умер, а два старших брата выжили.

– Да ты их часто видишь, – говорит мне Муля. – Сироты. Они на той стороне улицы живут. Один невысокий в очках, а второй повыше. Дом сейчас себе строят. У них после отца флигель небольшой остался, бабка в нем жила. Они вышли из детского дома, на работу поступили, а теперь решили строиться...

И я вдруг вспоминаю – в самом деле, я часто вижу этих сирот, и даже знаю, что их на улице зовут Сиротами, и потрясаюсь тому, что вся эта ужасная история произошла с людьми, которых я знаю в лицо, с которыми ездю в трамвае.

А Муля вспоминает, как они с Зиной – Зина тогда тоже на нашей улице жила – проучили участкового милиционера. Участкового этого женщины не любили, он не воевал, от фронта его освободили по какой-то болезни. Но медицинская комиссия, которая давала ему освобождение, не видела то, что видели бабы – как участковый управлялся с лопатой у себя на огороде, какие мешки таскал.

– Он же, Витя, жил на соседней улице. Его сына весь район знал. Хулиган, разбойник. Из тюрьмы не вылезал. И папаша такой же, придет, раскричится: на улице не прибрано, трава на дороге не выволота. А когда убирать, если на работе не просыхаешь? А ему все равно.

И Муля рассказывает, как они с Зиной выкрали у участкового сумку, порвали

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru протоколы, хранившиеся в ней, и набили в сумку мусора.

Муля с Зиной хохочут, и баба Маня, глядя на них, начинает смеяться. А глухая бабка вопросительно смотрит на всех и умильно предлагает:

– Кушайте, кушайте.

– Вы ж уполномоченной квартала были, – говорю я Муле.

– Вот потому и выкрали у него сумку. А иначе как бы мы ее у него украли? Он и подозревал нас, все принимался, присматривался, а доказать ничего не мог.

И еще Муля рассказывает, как немцы расстреляли двенадцать красноармейцев, спрятавшихся в кукурузе, которая начиналась тогда сразу за домом бабы Мани. Это сейчас еще несколько кварталов пристроилось, так что Манин дом оказался в центре района, а тогда прямо за ним начиналась кукуруза. Когда наши отступили, красноармейцы спрятались в кукурузе, а какая-то сволочь навела на них немцев. Немцы и расстреляли всех. Мулина соседка – на улице ее считали гулящей и немного чокнутой – видела, как их убивали. Прибежала к Муле, плакала, билась, проклинала немцев, звала Мулю пойти посмотреть, есть ли там живые, похоронить мертвых.

И опять Муля говорит мне:

– Да ты ее знаешь, Витя. – И Муля называет дом, в котором жила эта женщина, – Армянка. Одна живет с сыном. Все меня спрашивает: «Ну как у тебя Ирка? Хорошо живет? Толстая? А Нинка? Толстая? Хорошо живет? А Женька худой? У меня сын худой». Вчера в трамвае пристала, кричит: «Ирка толстая? Женька худой?»

И я опять поражаюсь тому, что знаю эту женщину, знаю дом, в котором она живет.

#### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Так встречались Муля и ее подруга Зина, пока не настала Мулина очередь ходить в невестах. Мулин жених появился у нас однажды в воскресенье. Часов в двенадцать дня постучал с улицы в окошко какой-то человек, спросил, здесь ли живет Анна Стефановна, узнал, что ее нет дома, сказал: «Я зайду позже», – и поспешно ушел. Часа через полтора прибежала с базара Муля. Как всегда в воскресенье, она встала на рассвете, возилась во дворе, жгла осенний мусор, успела кое-что постирать для глухой бабки и Ирки и убежала на базар. Базар для Мули – каждый раз событие. Возвращается она взбудораженная, восхищенная собственной изворотливостью и победами над торговками. Купила необыкновенно дешевые почки и печень, простояла в очереди лишних двадцать минут, но зато взяла гречневой сечки по государственной цене, и теперь дома еды на целую неделю, и деньги есть на хлеб и молоко. Возвратившаяся с базара Муля становится временно опасной для домашних. Не то чтобы она требовала признания, но так ей ярко представляется, как она и вчера, и сегодня утром волновалась, что денег до получки не хватит, как потом увидела эти почки и печень, обильно покрытые жиром, как прикинула, что дома есть картошка и соленья к соусу из почек и мука для пирожков с печенкой, что все это ей надо кому-то рассказать. А тут глухая бабка, которую не заставишь есть почки и печень – бабка младенчески любит сладкое, и Ирка, которой все равно. Ехала в трамвае Муля торжествующая, от трамвайной остановки спешила домой, а пришла и почувствовала, что спешить было некуда. Так было уже не раз, но привыкнуть к этому Муля никак не может. И когда Ирка, заглянув в кошелку, равнодушно спросила: «Печень? Пирожки будешь жарить?» – Муля, раздраженно рывкнув на бабку: «Ходишь тут», – сказала Ирке: – Ехала в трамвае с Галиной Петровной, той, что на Олимпиадовке живет. Спрашиваю: «На базар?» – «Нет, говорит, гулять». Пальто на ней коричневое, новое. Скажи ты, пенсию получает за мужа, кладет себе на книжку, а кормит ее сын. Невестку держит так, что та не пикнет. Внука не нянчит. В детсад определила. В воскресенье оденется и шасть из дому – воскресенье мой день! Вот как люди умеют!

– Муля, – говорит Ирка, – шла бы и ты гулять.

Ирка, почти не наклоняясь – наклониться мешает живот, – медленно подметает в коридорчике. Муля вспыхивает, и, чтобы предотвратить скандал, я спрашиваю:

– Муля, что это у вас в кошелке? Ого!

И Муля тотчас забывает про Ирку. Она раскрывает кошелку и торжествующе

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru спрашивает:

– Пирожки с печенкой любишь? На нутряном жиру? С луком?

Муля мгновенно добреет, и я выслушиваю рассказ о том, что она думала, когда шла на базар, что она подумала, когда увидела эту печенку, как прикинула, что дома есть еще картошка, и соленья, и банка внутреннего жиру.

– Муля, – говорю я, – а к вам тут приходили.

– Кто? – спрашивает Муля.

– Мужчина. Сказал, что позже зайдет.

– Кто бы это мог быть? – заволновалась Муля. – Митю ты знаешь?

– Вашего однорукого брата? Еще бы!

– Да? – Муля посмотрела на меня с сомнением. Все неизвестное вызывало у нее тревогу. Она стала прикидывать: – Не Митя? Может, Вася из Риги? Ирка, ты видела?

– Не Вася, не беспокойся, – сказала Ирка, – и не Петя из Риги, и не дядя Григорий из Борисоглебска.

– Ты видела?

– Видела.

– Какой он?

– Не знаю.

– Витя, какой он?

– Не знаю, Муля. Лет пятидесяти. В фуражке...

С полчаса еще Муля волновалась, а потом завозилась у печки, забегалась и забыла.

Мужчина пришел под вечер. Я пригласил его: «Анна Стефановна дома», – но он опять странно смутился и попросил:

– Пусть выйдет.

При этом он как-то очень быстро отошел от калитки к середине улицы. Так отходили в сторонку, дожидаясь Нинки, ее наиболее скромные ухажеры.

– Выйдите, Муля, – сказал я, возвращаясь в хату, – опять этот к вам.

– Так пусть бы зашел.

– Не хочет.

Муля вытерла тряпкой руки и выскочила за дверь. Прошло минут пятнадцать, и я забыл о Мулином госте, как вдруг оба вошли в комнату. Было в этом «вдруг» что-то неожиданное для обоих – такие у них были лица. Муля, хохотнув, сказала:

– Вот здесь я живу. Комнаты наши. Печку эту я сама мазала.

А гость, едва переступив порог, слепо сказал в пространство:

– Здравствуйте.

– Посидите, – сказала Муля, – я стираю. Хозяйство!

Мне и Ирке она сказала:

– Гость к нам, – и опять хохотнула.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
Гостью указала на нас:

- Дочка. Зять. Еще у меня сын в армии – и все семейство!
- Женя-балбес, – серьезно подтвердила Ирка.

Муля еще раз смущенно хохотнула и ушла в нашу новую кухню-тамбур. А гость сел на табурет. Сел он, неудобно подобрав ноги. Он был невысок, но все равно сидеть, поставив ноги на нижнюю перекладину табурета, ему было неудобно. Своим смущением он заразил и меня – Муля все не появлялась, а говорить нам с ним было не о чем.

Наконец Муля явилась. Сняла с вешалки пальто, накинула платок, кивнула гостю:

- Пошли.

Он быстренько поднялся, сказал нам вежливо:

- До свиданья.

Муля пропустила его вперед, вышла вслед за ним, но потом вернулась, приоткрыла дверь, объявила: «жених!» – и убежала.

Вернулась она скоро – видно, недалеко провожала своего поклонника.

- Жених! – ошеломленно сказала она. – Полковник-отставник. Или майор. Не знаю. Вы, говорит, одна, и я один. Вы, говорит, меня помните? Я Харченко. – Муля засмеялась. – А черт его знает, что за Харченко! Говорит, жил до войны на соседней улице. Нравилась я ему еще тогда. Я, говорит, все про вас узнал, люди мне рассказали. Живете вы трудно, и в семье у вас не очень хорошо. А у меня дом, виноградник, приходите, будете хозяйкой. Договорились: в ту субботу зайдет за мной, поведет меня к себе в гости, познакомит с сыном... Брошу я вас, ну вас совсем! Говорит, я нелюбый, спокойный. Пить здоровье не позволяет. Курить два года тому назад бросил. Есть военные ранения, но здоровье еще ничего. Сын через год институт кончает и уезжает из города. «Не стану, говорит, скрывать. Сын не то чтобы против, а не очень рад. Но понимает. Вмешиваться не будет».

Муля стояла у двери не раздеваясь, будто собиралась еще куда-то бежать.

- Так он полковник или майор? – спросила Ирка. – Как же ты не узнала?
- Муля, – сказал я, – теперь вам надо обязательно шестимесячную завивку.
- И зубы, – сказала Ирка. – Золотые. Муля, помнишь блатную песенку, которую пел Женька: «Одна нога у ней была короче, другая деревянная была...»?

Муля засмеялась:

- Невеста!
- Вот ты ему покажешь, – сказала Ирка. – Не возрадуется!
- Ага! – сквозь смех согласилось Муля.
- Он же маленький, чуть выше вас, – неизвестно почему стал хохотать и я.
- Коротышка!
- Майор-полковник!
- Лучше бы лейтенант!
- Сержант!
- Как Нинкин Паша.
- А в каком звании Нинкин Паша?
- А черт его знает! Алкоголик.

– Вот, Муля, у нас тут без тебя тихо будет!

– Еще поплачешь без матери.

– «Восплачешь и возрыдаешь» говорит, Муля, твоя мать, а она каждый день читает эту книгу. – Ирка показала на библию в коричневой обложке.

Так и не раздевшись, Муля убежала к бабке Мане, и через несколько минут из-за стены донесся приглушенный Нинкин хохот, радостные всхлипывания.

Потом женщины ввалились на нашу половину, смеялись, дразнили Мулю. Муля тоже смеялась, отвечала на шутки, но иногда всерьез прикидывала:

– Дом, говорит, у него большой, четырехкомнатный. Большая веранда. Застекленная.

– Летом чай будете пить, – вставляла Ирка.

– Ага, – уже не замечая шутки, кивала Муля. – Дом кирпичный. Я хоть от этих подмазок избавлюсь. Шутка – каждый год вот эту хату мажу. Да белю. А кирпичные стены ни подмазывать, ни белить.

– Ты же не удержишься, все равно себе работу найдешь. Начнешь все заново штукатурить.

Муля улыбается:

– Ага, не удержусь.

– Жаль мне, Муля, – говорит Ирка, – этого старичка полковника. Не дашь ты ему умереть собственной смертью. Не знает старик, на что идет. Меня так и подмывает раскрыть ему глаза.

Но Мулю уже не сбить.

– Говорит, виноградник большой. Сорт хороший. Всегда до нового года свежий виноград, свое вино, маринованный виноград. Каждый год продает на базаре на несколько тысяч рублей.

– Будешь торговать на базаре? – спрашивает Ирка.

– А что ж? Буду. Торговала же в войну.

– Пусть торгует, – вступается Нинка, – что тут такого!

– А живет знаешь где? На Дачном, на полковничьем участке, где все отставники построились. Улица чистая, зеленая и от нас близко. Я утром собралась, десять минут – и дома. У вас тут прибрала, за ребенком присмотрела. Женька вернется, тоже женится, дети пойдут, я и помогу... Он мне говорит: «Договоримся сразу, ни мои, ни ваши дети к нам не касаются. Они взрослые, пусть строят жизнь, как хотят. В праздник всем собраться – хорошо. А так пусть живут сами по себе, а мы будем сами по себе. Нам еще тоже счастья хочется». А я ему сразу сказала: «Вы как хотите, а я своих детей не брошу». Правильно? – Муля обернулась к Нинке и бабе Мане, хотя должна была бы обратиться к Ирке.

– Женю ты не бросишь, – сказала Ирка, – а меня, пожалуйста, бросай. Можешь не беспокоиться.

– Это ты только пыжишься, – сказала Муля, и черные глаза ее вспыхнули. – Родишь – не так запоешь. И всю жизнь с ними так, – сказала Муля Мане, – что ни делай, благодарности не дождешься. Хату этой красавице перестраивай, пеленки шей. Я уж и приданое заготовила, ванночку купила, тазик...

– Носовые платки, детскую присыпку, – сказала Ирка.

– Да, и детскую присыпку, а она только носом крутит: «Можешь меня, Муля, бросать. Я в тебе не нуждаюсь».



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
Потом все вместе вспоминали, кто же он такой этот жених, если он до войны жил на соседней улице и хорошо знает Мулю. Вспоминали, вспоминали, так и не вспомнили.

– Чего же ты нам его не показала? – сказала баба Маня Муле. – Может, вместе и разобрались, кто он такой.

– Побоялась, чтобы я не увела ее старичка, – сказала Нинка.

Муля охотно улыбнулась.

Назавтра Муля как бы отстранилась от нас. Она шушукалась лишь с Нинкой и еще с нашей соседкой по улице, вдовой Верой. Вера работает медсестрой в районном роддоме. Она очень чистоплотна: дома у нее, говорит Муля, все подлизано, начищено. И дети у нее не по-уличному степенно аккуратны. Года два тому назад – тогда еще жив был Верин муж – Муля попросила ее сделать пенициллиновый укол заболевшей Ирке. Вера пришла к нам с большой железной коробкой, в которой она уже у себя прокипятила шприц и иглу, сняла у порога туфли, поискала глазами какие-нибудь шлепанцы и, так как шлепанцев у нас не оказалось, пошла в носках через комнату.

– Да ты что, – закричала на нее Муля. – У меня не прибрано. Носки испачкаешь.

– Грязь на дворе, – сказала Вера. – Не буду же я вам грязь носить.

Поверх чулок у нее были надеты толстые домотканые носки из неочищенной серой шерсти. И в том, как Вера сняла у порога свои туфли, и в этих домотканых носках, которые не купишь ни в одном магазине, было столько домовитости и чистоплотности, что пристыженными почувствовали себя не только я и Ирка, но и Муля, которая хвастается своим умением поддерживать в доме чистоту. И коробка, в которой Вера кипятила свой шприц и иголки, хоть и потемнела от многочисленных кипячений, а тоже была опрятной и добротной. Раскрывая коробку, Вера сказала:

– Я уже кипятила. Ничего? У меня печка горит: думаю, может у них сейчас огня нету. Но я могу перекипятить. Как хочешь.

И она на минуту приостановилась, вопросительно глядя па Ирку.

– Что ты! – сказала Ирка.

Потом они немного поговорили:

– А детям своим ты сама делаешь уколы? – спросила Ирка.

– Девочка у меня не болеет, ее незачем колоть. А сын в отца, хворый, его приходилось.

– Жалко?

– Жалко, что болеет, а колоть чего ж жалеть?

Уходя, Вера упаковала свою коробочку, собрала, несмотря на Мулины протесты, кусочки ваты с осколками ампул: «Все равно на улицу иду, чего им тут лежать?»

Такой мне запомнилась Вера еще до того, как умер ее муж. После того, как он умер, Веру на улице стали жалеть, а потом осуждать. Но скоро перестали и жалеть и осуждать – привыкли, что Вера никак не подберет себе мужа, что у нее каждый месяц новый муж, что она с ними пьет, а иногда и дерется.

– Я ей говорила, – возбужденно тарашась, рассказывала Нинка. – «Ты их не допускай сразу к себе. Что это, только познакомились – и сразу ведешь». А она мне: «А чего я буду кривляться? Что он – маленький, не понимает? Просто мужики теперь такие. Сорвал и ушел. Ни одного порядочного мужика».

С тех пор, как Нинка проводила своего Пашу в армию, она частенько забегала к Вере. Одно время они ходили в кино, на танцы, но потом Нинка все-таки остепенилась, взяла себя в руки. И вот теперь, когда у Мули появился жених, она тоже часто стала бывать у Веры. Куда-то они ходили вместе, о чем-то таинственно совещались. Должно быть, Муля тоже верила в ее опытность.

К субботе Муля говорила, то и дело неестественно приподнимая верхнюю губу, слова у нее получались с лихим металлическим присвистом, и Муля наслаждалась этим металлическим присвистом – она наконец-то вставила зубы. Шестимесячную завивку Муля тоже сделала. Седые завитые кудри, металлическое сияние во рту, разговор с залихватским присвистом отделил Мулю от нас с Ирккой; в черных Мулиных глазах появилось что-то агрессивное. Она меньше стала возиться дома, вечерами подолгу засиживалась у бабы Мани – у бабы Мани была швейная машина, Муля шила себе новое платье.

Над Мулей подшучивали, называли ее «красоткой», спрашивали, каким браком она собирается сочетаться – церковным или гражданским, готов ли ее свадебный наряд. Баба Маня сдерживала Нинку и Ирку.

– Шутка дело, – говорила она о Муле, – в тридцать четыре года вдова. Ну-ка! Видишь, как сейчас Верка бесится.

Маня не ревновала. И жизнь и смерть, с тех пор как умер Николай, унесли так много, что ревновать не имело смысла.

В субботу Мулин отставник зашел за ней. Он опять робко постучал с улицы в окно, опять не захотел входить в комнаты, ждал Мулю где-то на середине улицы. Впрочем, Муля и не приглашала его в дом. Ушли они засветло, вернулась Муля поздно.

– Ну как? – спросила Ирка.

– Ничего, – с вызовом ответила Муля.

– Дом кирпичный?

– Кирпичный.

– Стеклянная веранда есть?

– Есть.

– Не обманул, значит, тебя.

– Не обманул.

И Муля принялась рассказывать сама. Дом прекрасный, кирпичный, новый, сухой. Полы крашенные, но такие гладкие, что лучше паркетных. Мыть их, наверно, легко. Двор большой, широкий, винограда целая плантация. И дома рядом большие, улица приятная, весной и летом зелени будет полно. Сын у отставника серьезный, в очках, без пяти минут инженер, не то что Женька-балбес, поздоровался вежливо и ушел: «Папа, мне нужно в город».

– Я как вошла, – сказала Муля, – посмотрела, говорю: «Шкаф я поставлю сюда, этажерка будет стоять здесь, трафарет надо менять...»

– Показала себя?

– Ага.

– А что вы с ним делали, когда остались вдвоем? – спросила Ирка.

– Чай пили, – целомудренно не замечая подвоха, ответила Муля. – А потом в театр пошли.

– Муля? Ты была в театре! За сколько лет?

– И не помню за сколько. Нет, помню. Три года назад в клубе у нас что-то такое представляли.

– Так то самодеятельность.

– Ага. Самодеятельность. Да мне все равно – что самодеятельность, что не самодеятельность.

– А в театре понравилось?

– Народу много.

– А когда ж у вас свадьба?

– Он торопит, – сказала Муля, и от металлических зубов ее пошло сияние. – А я за то, чтобы подождать. Я ему говорю: «Дочке скоро рожать; надо кому-то маленького нянчить».

– Брось, брось, Муля. Нечего на меня сваливать. Я тут ни при чем.

Муля не ответила.

– А когда ж новое свидание?

– В субботу. Он хотел пораньше, а я говорю: «Некогда. Я работаю».

Всю неделю Муля агрессивно присвистывала своими стальными зубами. Рот ее излучал металлическое сияние. Металлическое сияние шло и от седых шестимесячных кудрей. Но в остальном Муля вела себя, как обычно. Вставала на рассвете, готовила завтрак, будила бабу Маню, чертыхалась оттого, что кто-то не поставил кастрюлю на место, что куда-то запропастилось постное масло, убегала на работу, разбудив Ирку и меня. Возвратившись с работы, подметала, мыла полы, стирала, готовила, а поздно вечером подсчитывала свой фабричный заработок – наклеивала талоны на большие листы бумаги. И в субботу у Мули все шло, как всегда. Вернувшись с работы, она разогналась на большую стирку – наносила воды, поставила на огонь выварку, вытащила узел грязного белья, а когда Ирка спросила: «А как же твой генерал?» – Мулиного отставника Ирка называла то полковником, то маршалом, то сержантом, – Муля неожиданно махнула рукой:

– Да ну его!

Все-таки, когда отставник постучал в окно, Муля, минуту посомневавшись, отерла с рук мыльную пену и вышла открывать дверь. Потом она переодевалась, причесывалась, а отставник ждал ее на улице. И тут мне почему-то показалось, что ничего у Мули с отставником не будет. Просто невозможно, чтобы у Мули с ним что-то было.

– Знаешь, – сказал я Ирке, – по-моему, ничего у них не будет.

– Я тоже так думаю, – сказала Ирка. – Ей и раньше предлагали выйти замуж, а она не выходила.

Но все-таки некоторое время я еще сомневался. Еще субботы три Муля ходила на свидание к отставнику, а потом будто разом сняла с себя шестимесячную завивку и погасила металлический блеск во рту. С Верой дружба у нее быстро разладилась. Нам Муля ничего не объяснила. Мане она сказала неопределенно:

– Если бы раньше человек нашелся, а сейчас как была у меня семья, так пусть и остается.

#### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Во вторник предпоследней недели декабря я шел в редакцию на вечернее дежурство. Открыл калитку и увидел на углу нашего дома трех парней. Голоса их я слышал еще в доме – парни ссорились, – и я собирался сказать им, чтобы они шли ссориться в другое место. Двоих из парней я знал в лицо, они жили на нашей улице. С одним из них, высоким, грузноватым, одетым в пижамные штаны и в стеганку, накиннутую поверх пижамной куртки, я даже иногда здоровался – он был приятелем Женьки, звали его Валерка. Когда я вышел, двое парней напирала на Валерку должно быть, все они только что были у него дома, выпили и теперь вышли на улицу выяснять отношения. Однако, когда я поравнялся с парнями, они уже называли друг друга «Витёк», «Валера» и, дружески соединившись, двинулись по улице вверх к ближайшему нашему магазину: у этого магазина всегда начинались и заканчивались такие ссоры. Немного проследив за парнями и решив, что теперь уже всё в порядке, что они не вернутся и не испугают беременную Ирку, я повернул от дома к трамваю, но на полдороге встретил дядю Васю, шофера такси, и он опять показал мне на

парней:

– Смотри, что делают!

Я обернулся. Теперь против Валерки было четверо. Наверно, те двое встретили еще друзей, и ссора разгорелась с новой силой. Валерка стоял ко мне левым боком, но грузно нагнулся навстречу тем четверым, правая рука его, заканчивавшаяся чем-то блестящим, была выставлена перед животом, а те четверо шарахались от его руки, бежали по какому-то четко очерченному кругу, стараясь забежать Валерке за спину. Они пока не рисковали ступить внутрь этого круга, но так долго продолжаться не могло, я вспомнил, какими слепыми и глухими были лица парней и когда они ссорились, и даже когда они, дружески соединившись, шли в магазин и называли друг друга «Витёк», «Валера».

– Порежутся, проклятые, – сказал дядя Вася и, поискав что-то глазами вокруг себя, качнул палку в нашем заборе.

Но в это время Валерка попятился, повернулся спиной к своим противникам и грузно побежал. Он был в галошах на босу ногу, и, чтобы галоши не спадали, он бежал как будто на лыжах, не поднимая высоко ног, шоргая галошами по земле.

– Правильно, – сказал дядя Вася с облегчением, – уйди лучше от беды домой.

Четверо Валеркиных противников с облегченным и торжествующим ревом погнались за ним. А добежав до кучи строительного мусора у нашего дома, стали кидать вслед Валерке обломки кирпича. Мы с дядей Васей направились к ним, но вдруг дядя Вася прижал меня к забору. Все так же, словно на лыжах, Валерка выбежал из дому с охотничьим ружьем в руках. Еще не веря, что он может выстрелить, четверо задержались на мгновение, а потом трое бросились бежать – меня поразили их лица: смесь страха, смущения и какого-то отчаянного, пьяного веселья, – и лишь четвертый остался у кучи строительного мусора с обломками кирпича в руках. Он кинул свои бесполезные кирпичи навстречу Валерке, а тот выстрелил в него. Парень поднес руку к жалкой своей белой модной кепке, крикнул удивленно: «Попал!» – и осел на землю. Мы с дядей Васей кинулись к нему; парень лежал, уткнувшись лицом в битые кирпичи. Когда мы перевернули его на спину, внутри у него что-то перелилось с места на место.

Я побежал в школу звонить в «скорую помощь» и милицию, сообщить в редакцию, что не смогу прийти, а в это время кто-то остановил орудовский мотоцикл. И орудонец забрал Валерку вместе с ружьем. Валерка, переодевшись, ждал, пока его заберут. Минут через десять после этого явилась милицмейская машина с врачом. На улице уже было темно, и пока врач со своим помощником осматривал убитого, мотор машины работал – шофер прожектором освещал кучу строительного мусора, на которой лежал убитый. Если кто-то из толпы пытался что-нибудь посоветовать милицмейскому врачу, откуда-то из темноты, из машины, скрытой за светом прожектора, кричали на советовавшего:

– А ну, отойди! Отойди! Без тебя знают! И-ышь, умный какой!

Приехала «скорая помощь», в круг, освещенный прожектором, вошел врач. Санитар нес за ним металлический чемоданчик. В клубящемся свете милицмейского прожектора лица врача и санитара стали алюминиево-бледными. Забрав убитого, машины уехали, и на улице опять стало безлюдно и темно.

Я вернулся в дом. Ирка молча сидела на кровати, Муля возилась у печки.

– Сволочь! – выругался я, думая не только о Валерке, убитом парня в белой кепке, но обо всем, что произошло.

– А почему он, Витя, сволочь? – вдруг повернулась ко мне Муля. – А что, если бы ему камнем по голове? Их же четверо было! А он один. Правильно он сделал. Мне Валеркина жена говорит: «Вот, тетя Аня, все теперь будут жалеть убитого, а Валерку осуждать. А если бы они ему камнем в голову попали? Если бы ваш женька был дома, он бы заступился за Валерку...»

Меня раздражали то, что говорила Муля. Мне не хотелось выяснять, кто тут прав, кто виноват, – все происшедшее, казалось мне, выходило за те пределы, где ищут правого и виноватого. Мне хотелось осуждать. Осуждать все – нравы, улицу, район.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
Не жаль ни того, кто убит, ни того, кто арестован. Жаль милиционеров, следователей, врачей, Ирку, себя, дядю Васю – всех, кого это дикое убийство затронуло и потрясло. Дичь какая-то! Я давно присматривался к пьяным ссорам на нашей улице, и вот темное прорвалось... Все это я выложил Муле. Она не поняла меня. Она и не должна была понять меня. Я исходил из того, что всего этого не должно быть, а она из того, что это было и есть. Она всю жизнь прожила на этой улице, знала Валерку, его мать и жену.

– Клавку жалко, – сказала Муля о Валеркиной жене. – Валерку посадят, а она с дитем останется. А Валерка всегда был спокойным. Женька выпьет – шальной делается, а Валерка, сколько бы ни выпил, – всегда спокойный.

Это уже была уступка мне. Муля переводила разговор с Валерки на Валеркину жену. Но мне не было жалко и Валеркину жену. Я видел, как она подходила к убитому, когда кучу строительного мусора освещал прожектор милицейской машины, – посмотрела и поспешила домой рассказывать, что видела. Ни жалости, ни раскаяния не было на ее лице. Она тоже готова была отстаивать своего Валерку во что бы то ни стало.

Опять у нашего дома остановилась машина. В дверь постучали – это был следователь из уголовного розыска. Опять началась суeta: загудел мотор, включили прожектор. Следователь и его помощник щелкали фотоаппаратом, считали шаги от того места, где стоял Валерка с ружьем, до кучи строительного мусора, на которую упал убитый. Помощник следователя нашел пыж, сделанный из газеты. Пыж лежал около нашего забора. Все это казалось мне уже лишним смыслом. Я сказал следователю:

– Убийца-то уже арестован. Его милиционер сразу же забрал.

Я был еще слишком не искушен и не знал, как потом, на суде, будут важны эти подсчеты, фотографии, пыж, как много о них будут говорить и обвинитель и адвокаты...

Следователь посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «И-ышь, умный какой!» – но не сказал, а только махнул рукой – не мешайся ты тут. А через несколько минут спросил:

– Вы живете в этом доме? Я должен снять с вас опрос.

Мы вошли в комнату. За нами протиснулся милиционер, сопровождавший следователя, и парень-понятой, которого следователь привез с собой. Следователь закричал на парня:

– Чего дверь раскрыл? Холоду людям напускаешь! Мы пришли – ушли, а людям тут спать! А ну закрой дверь!

Парень попятился и исчез. Милиционер покраснел. Он сказал:

– Там какие-то пьяные ходят. Пристают: «А ты имеешь право здесь фотографировать?» Может, задержать?

Я спросил:

– Низенький, в кожаной куртке?

– Кажется, в кожаной, – сказал милиционер.

– Среди тех был один в кожаной куртке, – сказал я следователю, и он опять посмотрел на меня: «И-ышь какой!» – но тотчас же погасил глаза.

– Филимонов, – сказал он милиционеру, – если еще будут приставать, приведите их сюда.

– Может, я пойду с милиционером? – сказал я. – Я узнаю их.

Следователь не ответил. Он спросил:

– Милиционер убийцу забрал? И ружье унес? А кто убитого забрал – милиция или «скорая помощь»?

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– По-моему, милиция. Я слышал, как врач «скорой помощи» сказал: «Нам тут делать нечего».

Следователь покачал головой:

– Я покажу этому милиционеру! Сколько раз уже говорилось: пока не приедет следователь, все должно оставаться нетронутым!

Он еще долго сокрушался, грозил показать милиционеру, который забрал Валерку, и тем милиционерам или врачам «скорой помощи», которые увезли убитого, и наконец приготовился вести протокол. Тут я произнес фразу, которую заготовил давно:

– Я работник городской газеты и буду рад помочь следствию.

Произнес и почувствовал, как кисло, претенциозно и глуповато она прозвучала.

Следователь не сделался ни вежливее, ни доверчивее. То есть он был вежлив, но это была отпугивающая меня вежливость. Для кого-то эта вежливость обязательно оборачивалась грубостью.

– Закрой дверь, – кричал следователь на паренька-понятого, – людям тут спать!

Теперь он выговаривал милиционеру:

– Осторожней двигай стул, Филимонов. Можешь поломать людям стул. У них и так сегодня беспокойный день.

Я стал рассказывать, он записывал, иногда задавал вопросы и все поглядывал: «И-ышь какой!» если я отклонялся в сторону от заданного вопроса и что-то говорил от себя. Когда я сказал ему, что Валерка стоял, вытянув руку с ножом, а те четверо старались зайти ему со спины, вмешалась Муля. Она сказала:

– Витя, ты же плохо видишь. Ты же близорукий. От тебя до Валерки был почти квартал, ты же почти к трамвайной остановке подошел. Как же ты мог видеть, нож у Валерки в руках или не нож?

Я ошеломленно посмотрел на нее. В самом деле, я стоял далеко и своими глазами не видел ножа. Но Валеркина поза, но позы тех четверых, боявшихся вытянутой Валеркиной руки, – все это было слишком определенно, ошибиться тут было нельзя.

Следователь, заметив, что я замялся, спросил:

– Своими глазами видели нож?

– Своими глазами? Но... своими глазами, пожалуй, не видел.

– Говорить надо только о том, что видели своими глазами.

Потом следователь дал мне прочитать листы протокола, на которых огромными буквами было написано «вопрос», «ответ».

– Вы на ошибки не обращайте внимания, – сказал он, – я в спешке писал.

Я расписался на каждом листе по два раза – с этой и другой стороны, и следователь со своими помощниками уехал.

Едва он уехал, Муля, провожавшая его до двери, накинулась на меня:

– Зачем ты, Витя, сказал про нож? Тебе это надо? Пусть сами разбираются!

Я не ответил ей. Год тому назад умер мой отец. Он воевал в первую империалистическую, воевал в Великой Отечественной, был контужен, ранен. После войны тяжело болел. Он несколько раз бывал при смерти и все-таки каждый раз выкарабкивался. Я помню все больницы, в которых он лежал, врачей, которые ему делали операции, лечили его. И смерть его многих задела – и родственников и друзей. А тут что? Бессмысленная пьяная ссора, пустяковое самолюбие пустяковых людей – и такое важное, человеческое, трагичное низведено до черт знает чего. И

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru ведь станет эта пакостная история легендой для некоторых мальчишек с нашей улицы. И как те трое испугались и побежали, и как этот один не испугался и кинул в Валерку кирпичи, и как Валерка не побоялся тюрьмы и выстрелил в этого.

У Ирки в вечерней школе есть такой паренек-недомерок лет семнадцати. Он уже два года отсидел, на всех смотрит волком. Волчонком, вернее. Ирку презирает, соучеников своих – а некоторым работягам, которые сидят с ним в классе, по тридцать-сорок лет – тоже. Не пронять его ни Пушкиным, ни Лермонтовым: и Пушкин и Лермонтов для него тоже что-то вроде ненавистных воспитателей. Однажды один из старших в классе сказал ему: «Что ж это ты людей-то не уважаешь?» Паренек ответил: «Это вы люди? С вами что хочешь сделай – вы не люди. Кто из вас на смерть пойдет? А я видел людей, которые на смерть шли!» Эти люди – воры.

И еще я подумал, что Мулин сын Женька провалился на экзаменах в летное училище не только потому, что был ленив, как бывают ленивы маменькины сынки. Тут все гораздо сложнее – Женька был ленив, потому что уличный неписанный кодекс был для него самым главным среди всех других моральных кодексов.

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Чтобы не мешать Ирке, чтобы не толкнуть ее случайно во сне, я лег спать на раскладушке. Ночью меня разбудила Муля.

– Витя, – сказала она, – вставай, у Ирки началось. Вставай, надо идти за «скорой помощью».

Я вскочил. Свет в комнате уже был зажжен. Ирка молча сидела на кровати. Сквозь сонную одурь мне показалось, что ничего еще не произошло, что Муля, как всегда, поторопилась, и я опять сел на свою раскладушку.

Ирка сказал, извиняясь:

– Не хотела вас будить, думала, что еще не началось. Думала, что просто переволновалась из-за вчерашнего.

Она смотрела на меня, и я сказал:

– Сейчас, сейчас!

Она кивнула с запозданием, и я увидел, что смотрит она не на меня. Тогда мне стало не по себе, сонная одурь мгновенно прошла.

– Вот ты, дура, – сказал я, – еще деликатничаешь. Надо было давно разбудить. Чего ты деликатничала?

Ирка опять кивнула с запозданием и ничего не ответила. Я понял: она ждет. Прислушивается к себе и ждет. И что бы я ей ни сказал сейчас, она вот так же молча кивнет и будет ждать. Она, наверно, очень смелый человек; случись со мной что-нибудь столь же опасное, я бы давно взвыл, а она деликатничает. Потом я взглянул на Иркино спокойное, припущее лицо, увидел, как она неподвижно сидит, натянув на колени одеяло, как нехорошо она выглядит в этом ночном непривычном электрическом свете, и понял, что она очень боится, что она тоже чувствует, как нехорош этот непривычный ночной электрический свет, и сдерживается изо всех сил. А я так мало могу сделать для нее – всего лишь сбегать за «скорой помощью».

– Я побежал, – сказал я ей.

Она молча кивнула, и я выскочил на улицу. Вначале я побежал к школе, где был телефон, но через несколько шагов решил, что будет вернее, если я сам сбегать в роддом и приведу «скорую помощь». Шофер может заблудиться или промедлить, а я покажу ему дорогу и, если надо, потороплю. Я бежал по темным улицам – до роддома было кварталов пять – и совсем не думал о ребенке, который должен у меня родиться, хотя последние полгода мы только и делали, что готовились его встретить: перестраивали для него дом, покупали ему приданое, приобретали специальную литературу, – я думал об Ирке, о том, что она тяжело и опасно больна и что ей надо немедленно помочь. В роддоме женщине в белом халате, вышедшей на мой звонок, я сказал:

– Нужна «скорая помощь».

– Далеко ваша роженица? – спросила женщина. – Прийти сама не может?

– Далеко. Пять кварталов, – сказал я задыхаясь.

– А «скорая помощь» не здесь, – сказала женщина. – За «скорой помощью» вам надо идти в районную больницу.

Я уже и сам с испугом заметил, что во дворе роддома нет гаража, нет на грязи и на снегу автомобильных следов. До районной больницы было еще кварталов пять, и снова я бежал по темным улицам.

Подъезд районной больницы сравнительно ярко освещали фонари, и я еще издали заметил две машины. Мне казалось, что я слишком медленно бегу, что я не успею и машины уйдут по другим вызовам. К больнице я прибежал совсем запыхавшимся, остановил первую, уже было тронувшуюся с места «скорую помощь», назвал улицу, номер нашего дома, хотел сесть рядом с шофером, чтобы показать дорогу, но меня посадили назад, в кузов, туда, где сидел санитар, где рядом со скамеечками были укреплены длинные полотняные носилки, – шофер сам прекрасно знал дорогу. «Скорую помощь» трясло на ухабах наших немощных улиц, в животе у меня подрагивало, я держался за отполированную ручку и думал, что так же будет трясти и Ирку.

Дома нас уже ждали. На улице дежурила Муля. Увидев машину, она тотчас вошла в дом и вывела оттуда уже одетую и приготовленную Ирку. Ирка с трудом влезла по лесенке в кузов.

– Пожалуйста, везите тише, – попросил я шофера.

– Счастливо! – крикнула Муля. – Пальто застегни. Горло, горло закрой. Витя, пусть она закроет горло. Смотри, чтобы ехали тише.

Машина уже тронулась, а Муля еще что-то кричала, размахивала руками. Я сидел напротив Ирки и говорил:

– Потерпи, потерпи немного. Сейчас приедем, тут недалеко. Здесь лучший в городе роддом. Врачи прекрасные.

Ирка молча кивала. Она не вникала в то, что я говорил, слушать меня ей было трудно – я это видел, но не мог остановиться и все уговаривал ее потерпеть. И она молча кивала мне.

В приемной роддома я сидел, пока Ирку принимали и переодевали. В маленькой приемной висели какие-то медицинские плакаты и диаграммы, и пахло здесь странно и непривычно – я не знал еще, что это запах детских пеленок, детской молочной рвоты, молока, киселиков, кашек – сложный сладковатый запах, который появляется всюду, где есть грудные дети.

#### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На следующий день в приемной роддома я прочитал на доске объявлений написанную мелом свою фамилию. Доска была старой, черная краска на ней истерлась, мел, которым писали вчера, еще остался – в общем, это была некрасивая, старая, грязная доска, и все же, взглянув на нее, я вздрогнул. Чьей-то торопливой рукой на доске была написана моя фамилия. Я осторожно посмотрел правее – против фамилии стояло коротенькое слово «сын». Еще дальше, в графе «вес», было написано: «3400». Я посмотрел выше и ниже – в один день с моим сыном водилось четыре девочки и три мальчика, самая тяжелая новорожденная весила 4100, самый легкий – 2900. Я не то чтобы обрадовался – мне стало легче: со случайностями было покончено – у меня сын. Я дождался, пока в приемную вышла сестра, спросил ее, как здоровье Ирки. Ирка чувствовала себя хорошо, и мне стало еще легче.

– Мальчик у вас хороший, – сказала сестра. – На отца похож.

Сестра была Мулиной знакомой. Она дежурила, когда Ирка родила.

– Тяжело все это было? – спросил я.

– Да что там, – сказала сестра, как будто снимая с меня какую-то вину, – что уже легко – тяжело! Как у всех.



– А все-таки?

– Идите-идите, да не напейтесь больно на радостях, – махнула на меня рукой сестра. И она улыбнулась, извиняя мне и то, что Ирке было тяжело, и то, что я напьюсь, пока Ирка лежит в больнице, и то, что, по ее мнению, мне не терпится куда-то побыстрее бежать и напиться.

– Когда Ирке можно будет что-нибудь передать?

Я все время спрашивал только об Ирке и думал только об Ирке. К тому, что у меня сын и что надо справиться о его здоровье, я еще не привык. И вообще я еще никак не думал о сыне. Просто на старой грязной доске роддомовских объявлений мелом было записано, что судьба моя отныне изменилась.

– Идите-идите, – еще раз сказала сестра. – Анна Стефановна сегодня обязательно зайдет, я ей все и скажу. Идите-идите. – И она еще раз улыбнулась, извиняя мне и мою наивность, и мою радость, и мое желание во что бы то ни стало поскорее напиться, и то, что ради меня ей придется нарушить кое-какие больничные правила. – Я понимаю, – сказала она, – папе не терпится увидеть сына. Сегодня еще нельзя. Завтра я не дежурю, а послезавтра, если все будет благополучно, поднесу его к окошку. Может, и Ира к тому времени сумеет подойти к окну, обоих сразу и увидите. А мальчишка хороший. Как его назовете, уже решили?

– Да нет еще, – сказал я.

– Да чего ж так? – сказала сестра. – По деду и назовите.

– По дедам, – сказал я. – Ирка – Николаевна, и я Николаевич.

– Правда! – вспомнила сестра. – Вы ж Виктор Николаевич, а я и не подумала. Вот и назовите по дедам.

– Да нет, – сказал я и объяснил, увидев удивление в ее глазах: – Деды не очень-то счастливые. Оба до своих лет не дожили.

– Да? – сказала сестра и заторопилась; она явно осуждала меня: – Ваше дело, вы молодые. Вы сами решите.

Она ушла, оставив мне Иркину записку. Сестра была подругой Мули; она, конечно же, знала все, что делалось у нас в доме, и осуждала меня за то, что я не хочу дать сыну имя Николай. Муля уже давно договаривалась со мной и Ирккой, что, если родится мальчик, назвать его по деду. Она даже мистифицировала меня, устраивала маленькие спектакли, рассказывала, будто встретила ее где-то цыганка и пообещала, что у Ирки родится мальчик, которого обязательно надо назвать Николаем. Если мальчику дадут другое имя, он будет много болеть.

Поддержки Мулю Ирка, и я бы, конечно, не устоял, но Ирка только молча прислушивалась к нашим спорам. «Знаешь, – говорила она мне, – я не все об отце помню. Но вот такое помню: во время первых бомбежек, если отец дома, так как будто и страху поменьше. Или еще – пес у нас был Мишка. Здоровый, умный. Его раз потом остригли, так он из будки неделю не вылезал – стеснялся того, что лысый. Так вот, помню, как Мишка прыгал на отца, когда отец вернулся после того, как выбили немцев. К отцу подойти было нельзя – Мишка вокруг него вился». Ирка давно собиралась поднакопить денег и съездить на ту станцию, где был убит отец, и ей, конечно, тоже хотелось, чтобы сына назвали Николаем. Но чем больше у нее рос живот, тем внимательнее она слушала меня. А я говорил:

– Чепуха это, понятно, имя ничего не определяет. Но у меня все равно останется ощущение, что мы обрекли пацана на повторение чьей-то судьбы. Что твоему отцу, что моему не очень-то в жизни повезло. Понимаешь, не хотелось бы, чтобы тень висела над пацаном... Пусть будет сам собою. Авось будет счастливее.

И Ирка слушала. Муле она говорила:

– Ты вечно торопишься. Еще не известно, кто будет – мальчик или девочка.

Я вышел из роддома и на улице еще раз перечитал Иркину записку. Ирка писала, что

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru пробудет в больнице дней десять. «Обязательно, – просила она, – обей за это время дверь войлоком, занеси кошку и отдай кому-нибудь Кутю-Ошметку». Мой сын, весящий три килограмма четыреста граммов, еще не имеющий имени, требовал, чтобы я унес из дому кошку, которая живет у Мули пять лет, и выгнал бы на улицу шестимесячного щенка Кутю-Ошметку, которого сама Ирка неумеренной любовью и заботами превратила в инвалида. Это мне не понравилось. Недели две тому назад Кутя-Ошметка куда-то пропадал, и мы с Иркой до полуночи ходили по темным улицам и кричали: «Кутя! Кутя!» Ирке с ее животом было тяжело, она мерзла и все-таки искала щенка, так ей было его жалко. А тут, пожалуйста, – отдай! Кто его возьмет, замученного нашими заботами, страдающего хроническим расстройством желудка, – Ирка обкормила его детским витамином Д, настоянным на масле.

Я решил, что Кутя и кошка останутся дома; Ирка пока порет горячку, а пройдет несколько дней – поуспокоится, но все же не мог отделаться от смутной тревоги. С Иркой что-то произошло, если она так решительно расставалась со старой, сжившейся с домом кошкой и с белым шестимесячным щенком.

Дома я осмотрел входные двери. Их нужно было не только обить войлоком, но еще и укрепить. Стены нашей пристройки были сложены из мягкого камня-песчаника, гвозди легко входили в него, но и легко расшатывались в своих гнездах. Я разыскал в сарае несколько длинных гвоздей и вогнал их в дверной косяк.

Двери, ведущие из тамбура в комнату, тоже надо было обить войлоком. За много лет дерево ссохлось, и теперь стоило лишь провести ладонью вдоль дверных зазоров, чтобы почувствовать вкрадчивый напор холодного воздуха. В детстве я часто болел бронхитом, и сейчас мне вдруг тревожно захотелось покашлять. Я покашлял и подумал: действительно, неудачно это получилось, что мальчишка родился зимой. Я прошел в нашу с Иркой комнату и стал прикидывать, куда мы поставим детскую кровать. Сама кроватка, разобранный – отдельно сетка, отдельно спинка, – свежеевыкрашенная, стояла тут же. Наверно, Муля сегодня внесла ее из пристройки в комнату. На этой кровати спали еще Ирка и Женька, и теперь Муля подновила ее белой краской.

Наша комната самая теплая в доме, но и в нашей комнате не было настоящего места для детской кроватки. Мы с Иркой уже десять раз прикидывали, и я теперь прикидывал в одиннадцатый раз: стена с окнами исключается, наружная стена без окон тоже не годится – слишком холодная и сырая. Поставить кровать ближе к печке – пацан будет задыхаться от жары, ближе к улице – простудится...

Я примерял, куда поставить кроватку, и думал о том, какое имя дать сыну. Я чувствовал себя виноватым перед Николаем, своим отцом, и перед Николаем, Мулиным мужем, мне казалось, что я их в чем-то предаю, но страх за жизнь сына – с этого, наверно, и начинается родительская любовь – был во мне уже слишком силен, и я не хотел давать сыну имя Николай. А между тем никакие другие имена мне не нравились. Слава, Сережа, Геннадий, Виталий – все они не вызывали во мне никакого отклика, все они были для меня безличны. Имя Николай я любил, это имя было составной частью моего имени, моим прошлым, но в этом прошлом было слишком много тяжелого. Слишком много. И я решил, что предпочту любое безличное имя имени, которое я люблю. Я даже почувствовал какую-то гордость. Ради сына, ради моей любви к нему, которая только начинается, я брал этот грех на душу...

Вечером ко мне пришли Валеркина жена Клава и мать. Клава, как только вошла, сразу стала плакать, а Валеркина мать, такая же большая и грузная, как Валерка, цыкнула на нее.

– Тише ты, – сказала она невестке точно так же, как недавно говорил следователь понятому. – Ноги вытри, наследия людям.

Валеркина жена еще раз всхлинула, вытерла глаза платком, и обе женщины испуганно и выжидающе уставились на меня.

– Витя, – сказала мне Валеркина мать, – мы пришли к тебе.

Кажется, я испугался еще больше, чем они. Я понял, что сейчас они будут требовать от меня чего-то такого, на что я никак не могу согласиться.

– Витя, – сказала Валеркина мать, – ты сам стал отцом, я тебя поздравляю, мы рады за тебя. Ты представь, а если бы твоему сыну так пришлось?

– Но почему вы пришли ко мне? Что я могу сделать? – сказал я.

– Витя, кому больше на суде поверят – тебе или этим хулиганам, этой шпане? Ты же в газете работаешь! И вообще это и так видно – то ты, а то они.

Валеркина мать торопилась. Она как будто догоняла меня, боялась не догнать. Но она не только боялась не догнать меня, она и не любила меня сейчас, даже ненавидела и боялась показать, как она ненавидит меня. И Валеркина жена меня ненавидела.

– Витя, – сказала она, – зачем ты следователю сказал про нож? Ведь не было же ножа!

– Ну как же не было!

– Ты же сам потом взял свои слова обратно.

– Не было, витя, ножа. Не было, – сказала Валеркина мать. – Не было, ты ошибся.

Своей скороговоркой она пыталась успокоить и меня, и свою невестку, так некстати вызвавшую мое раздражение.

– Не было, витя, ножа, ты ошибся.

Она как будто подсказывала Клаве тон, в котором надо со мной разговаривать. Но Клава не хотела прислушиваться к тому, что ей подсказывала свекровь:

– Так зачем же он, мама, сказал!

– Замолчи!

Клава отвернулась и опять достала платок. Мать несколько мгновений с ненавистью смотрела на всхлипывающую невестку и опять повернулась ко мне.

– Витя, или я не знаю свое дитя? Валерий никогда не ходил с ножом. Он никогда бы не позволил. Вот и Анна Стефановна тебе скажет. Они же с твоим деверем, с Ириным братом, были друзьями.

У меня и раньше не было никаких сомнений в том, что в руках у Валерки был нож, а теперь я и вовсе уверился, что ошибиться не мог.

– Все-таки, – сказал я, – не понимаю, что я могу для Валерия сделать. Я же сказал следователю, что своими глазами ножа не видел. На суде я повторю то же самое.

– Витя, – сказала мать, – ты не должен про Валерия плохо думать. – Она замолчала и смотрела на меня все с тем же страхом и ненавистью. И наконец высказала то, что ее мучило: – Следователь сказал, что ты будешь на суде и следствии Валеркиным врагом.

А я-то гадал, откуда Валеркина мать знает о моем разговоре со следователем! Я думал, что все это Муля, а оказывается – следователь!

– Из-за чего они хоть поспорили? – спросил я.

– Витя, я разве знаю. Разве вы говорите нам, матерям, о своих мужских делах? Разве ты говоришь своей матери? Выпили, поспорили сгоряча. Мужики же.

Что-то она знала, это было видно по ее глазам.

– Я же не допрашиваю. Не хотите – не говорите. Я просто хотел бы понять, из-за чего погиб человек.

– Витя, а если бы они Валерку убили? Попали бы кирпичом по голове? Четверо ведь кидали! Четыре кирпича по голове. А ну-ка!

И опять она торопилась, словно спешила передать мне свое убеждение, свою любовь

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) и ненависть. Любовь к Валерке и ненависть к убитому, и к тем, оставшимся живыми, и ко всем, кто сейчас угрожает Валерке.

И на секунду я подумал: а может, и правда я несправедлив к Валерке? Может, это во мне говорит страх, оставшийся после пережитой опасности, – Валерка стрелял так, что мог попасть и в меня, и в дядю Васю, с которым мы прижались к забору. Может быть, тогда и вспыхнула у меня неприязнь к Валерке? Я считаю, что меня возмущает само безобразное, бестолковое убийство, а на самом деле это во мне говорит страх за собственную жизнь? Недаром же бесстрашная, ничего не боящаяся Муля сразу стала на Валеркину сторону.

– Я расскажу только то, что видел, – сказал я. – Только то, что видел.

– Вот и правильно, – сказала Валеркина мать, глядя на меня с неприязнью и подозрением. То есть она глядела даже как будто умильно, но я видел и неприязнь и подозрение – слишком все спешило в ней, все торопилось, и она никак не могла скрыть свои чувства. – Вот и правильно. Ты же видел, не было ножа. Валерка никогда бы себе не позволил.

– Я расскажу только то, что видел.

Они ушли – Клава всхлипывая, Валеркина мать повторяя:

– Вот, витя, и спасибо. Ты же сам все видел. Их четверо было против него одного. Ты сам видел.

Они ушли, а я подумал, что мог бы оправдать Валеркин выстрел, если бы причина ссоры не была так ничтожно мела. Вчера днем – об этом уже знала вся улица – Валерка и тот в кожаной куртке поспорили в пивной. Оба они работали шоферами-сменщиками на четырехтонном грузовике в автоколонне, располагавшейся на окраине нашего района, оба калымили и выручку делили пополам. А на этот раз не поделили. И ведь мелочь какая-то была – десятка или двадцатка. Кожаный полез на Валерку, Валерка ударил его, и кожаный, собрав к вечеру дружков, пришел к Валерке выяснять отношения. И ничего больше, что хоть как-то бы поднималось в уровень с трагическим результатом, как-то объясняло его. И я опять подумал о том, как умирал мой отец, прошедший две войны, учившийся между войнами в институте, как он не хотел умирать, как терпеливо сносил все операции, исследования, безропотно глотал лекарства, сколько раз к нему приезжала «скорая помощь», как много у него в доме бывало друзей, когда он уже не мог подниматься с постели, и как много на праздники он получал открыток-поздравлений. И я решил, что это готовая тема для выступления в газете. Смерть человека, и такая вот идиотская смерть.

Когда пришла с работы Муля, я у нее спросил:

– Не понимаю, Муля, чего вы так защищаете Валерку. Тут мать его была, меня умолачивала. Вы ж как-то мне говорили, что у Валерки куркульская семья.

– А, витя, – сказала мне Муля, – никого я не защищаю. Я просто наш райотдел не люблю. Пусть сами разбираются. А я на них насмотрелась, пока уполномоченной работала.

Вот так мне сказала Муля.

– Ну, не все ж такие в милиции, – сказал я.

– Я о нашем райотделе говорю, – сказала Муля. – Я их там всех знаю. И Женька там бывал, и меня туда вызывали из-за Женьки. Я их знаю.

– Попадало вам там?

– Не в этом дело...

Так мы с Мулей и не договорились.

Через десять дней я на такси вез Ирку из роддома домой. Ирка похудела, кожа на лице и руках у нее стала такой, как будто Ирка все эти десять дней стирала в густом пару – сыростно-чистая и истончившаяся. Казалось, пар проник под кожу и

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru непрочно, водянисто натянул ее. В глазах у Ирки появилось что-то тихое и будто слепое. На чем-то она внутри себя сосредоточилась, к чему-то прислушивалась, как в ту ночь, когда меня разбудила Муля: «У Ирки началось». Я хотел взять у нее из рук сверток, она не дала.

– Сломаешь, – сказала она. – Ты еще не умеешь. – И улыбнулась. Улыбка у нее получилась рассеянная.

– Давай я подержу, – сказала Муля. Мы с Мулей ожидали в приемнике, пока Ирка переоденется.

Ирка сняла халат, матерчатые больничные тапочки, взяла одежду, которую ей приготовила Муля. Двигалась она медленно, говорила тихо. И когда она переоделась, застегнула пальто, повязалась теплым платком, было видно, что она из больницы, что она недавно тяжело болела. Муля отдала ей сверток, и мы вышли на улицу. Муля сразу же повеселела, заторопилась к такси: «Давайте, давайте, шофер же ждет», – шумно стала рассказывать о себе:

– А я когда Ирку рожала – никакой «скорой помощи» мне не вызывали. Я сама добежала до роддома. Николай был на работе, а меня прихватило. Я и побежала. Прибежала в роддом, а мне говорят: «Чего ж вы „скорую помощь“ не вызвали?» А я только рукой машу: «Скорей-скорей, а то рассыплюсь». – И Муля засмеялась.

Ирка слабо, отраженно улыбнулась. Неизвестно было даже, услышала ли она.

Когда мы сели в машину, я сказал:

– Ирка, а Кутю-Ошметку я не занес. И кошку тоже.

– Да? – сказала Ирка, как будто бы это уже не имело никакого значения.

В такси Ирка отвернула краешек конверта, я со страхом заглянул. Муля закричала:

– Витька! Он же вылитый ты! Весь в отца. И лобик, и брови!

Ирка закрыла конверт, и я с облегчением откинулся на спинку сиденья. «Кажется, – со страхом подумал я, – это что-то не то».

– Печку я натопила, – сказала Муля! – Жара! Полы вымыла еще утром – сырости уже нет, все просохло. Ванночку приготовила, воды согрела. Все твоё белье перестирала. Войлоком все двери обила, никаких сквозняков. Бабку заставила искупаться, занавески поменяла, чисто в доме, тепло.

Ирка кивнула. Она была занята своим конвертом. Иногда рассеянно улыбалась мне, рассеянно слушала Мулю.

– Печка горит? – спросила Ирка, когда Муля замолчала.

– Да я ж тебе только что сказала! – изумилась Муля. – Ничего не слышит! – восхитилась она. – Ничего не слышит!

– Хорошо, – сказал я, – что хату закончили перестраивать. Как раз вовремя.

Ирка кивнула.

– В пристройке еще холодно, – сказала Муля. – Печка там не горит. А то бы мы с бабкой переселились туда, а вам бы две комнаты было.

– Ты у редактора квартиру просил? – спросила Ирка.

– Пока не обещает.

Ирка рассеяно кивнула.

Дома нас встречали баба Маня и глухая бабка.

– Принимайте, Маня, правнука, – сказал я Мане. И Маня сказала:

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru  
– Дай бог ему счастья.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ  
Прошло несколько лет.

Утром в воскресенье Ирка, наряжала Юрку в праздничную матроску, в желтые, негнущиеся от новизны сандалии, сказала мне:

– Ты что, забыл – мы к Муле на саман.

Я вздохнул:

– Женя по-прежнему пьет, а Муля по-прежнему разбивается в доску?

– Иначе она не может.

– Да уж!

Ехать мне не хотелось. С тех пор как мы перебрались на новую квартиру, я редко бывал у Мули. На новой квартире – мы получили комнату в центре – стало легче жить. И не только потому, что отпала необходимость запастись углем и дровами и было ближе на работу, – спало какое-то избыточное давление. Вернувшись из армии, Женя умиротворенно и основательно готовился к новой жизни, возился во дворе, обрезал засохшие ветки на деревьях, ставил забор, чинил сарай. Он и запомнился мне в эти дни покуривающим, обсыпанным стружками, которые он не стряхивал. Муля купила Жене серый костюм и белую кепку. В этой белой модной кепке Женя и пошел в первый раз на работу. В гараже, куда Женя устроился, ему дали старый самосвал с гремящим, расшатанным кузовом, с гремящей, расшатанной кабиной. Орудовцы штрафовали Женю на каждом углу, белая кепка промаслилась и закоптилась.

С этой белой фуражки, кажется, все и началось. «Я тебе говорила, – сказала Муля, когда ей в первый раз пришлось стирать Женькину кепку, – все будет в мазуте. Кто на работу в белой ходит?» Дома Женю начали раздражать теснота, шум, раскладушка, на которой ему приходилось спать. Однажды ночью она сломалась под ним. Тогда Женя решил строить свой дом. Привез глины, немного кирпичей, досок, сбросил их возле дома, и там они пролежали несколько лет, потому что Женя ушел из гаража и возить стало нечего и не на чем. Около года Женя работал токарем на номерном заводе, а потом перешел в добровольное пожарное общество обществу печником. Там уже работали его старые друзья: Валька Длинный, Толька Гудков, Валерка, уже вернувшийся из тюрьмы, – он получил сравнительно небольшой срок «за превышение необходимой обороны». В ДПО можно было больше заработать. Женя женился. Год назад у него появился ребенок. И теперь Женя приглашал родственников и знакомых на саман; наконец-то собрался строить себе дом.

– Поедем, поедем, – сказала Ирка. – Муля обидится. Два года Юрку нянчила, теперь с Женькиной дочкой возится, а мы ей не можем помочь.

На улице Юрка пристал: «Купи мороженое» – и Ирка не устояла, купила. В трамвае Юрка залился мороженым, испачкал костюмчик, испачкал Ирку – она держала ладонь горсткой у его подбородка, а потом вытирала матроску носовым платком. Однако настроение у Ирки не испортилось. Последние два года Юрка меньше болел, не так часто кашлял, и мороженое ему иногда можно было покупать.

От путепровода вдоль трамвайной линии построили десятка полтора пятиэтажных домов. Половина из них уже была заселена, кое-где работали новые магазины. На площади, где во время войны и долго после войны собиралась толкучка, строили широкоэкранный кинотеатр с современным железобетонным козырьком над входом. Асфальт, который раньше кончался у толкучки, теперь протянули далеко за город, к микрорайону, который в городской и областной газете называли «наши Черемушки». Над асфальтом стоял плотный городской шум: шли самосвалы, автобусы, грузовики, у которых вместо кузова – арматурная кассета для панелей сборных домов. Однако, когда на своей остановке мы вышли из трамвая и прошли от асфальта шагов пятьдесят, то попали в деревенскую тишину. Здесь и пахло деревней: садами, земляной пылью, солнцем. И звуки здесь были деревенскими, редкими, не сливающимися в городской гул. Ирка поторапливала Юрку – было уже девять часов утра, а приглашали нас на шесть, поработать по холодку, пока солнце не поднимется. Муля и Женька, наверно, не ложились спать. Ночью месили глину с соломой, делали саманный замес. Днем его здесь никак не сделать – одна

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru)  
водонапорная колонка на весь квартал, да и вода днем плохо идет: летом слабый напор.

Работающих мы увидели, когда повернули за угол. Их было много – мужиков и баб.

Рядом с ними остановился очкастый парень в майке, младший из братьев Сирот, Жора.

– Бог на помощь, – насмешливо крикнул он саманщикам. – Работайте, работайте, а мы на пляж.

– Иди к нам, – ответили ему.

– Так раньше не приглашали! – сказал Сирота.

– Сюда не приглашают, – ответили ему, – сюда сами идут!

– Так у вас, наверно, и водки нет, – не сдавался Жора.

– Пей, хоть залейся!

– А чего ж тогда вот эти ждуть? – показал Жора на мужиков в праздничных рубахах, которые, покуривая, стояли рядом с замесом.

– Это советчики!

– Руководители!

– У них язва желудка!

Сирота подмигнул Ирке – молодец я? – и потянул майку из-за спины.

– Уговорили!

Мы прошли во двор к бабам, которые возились в сарайчике, превращенном в летнюю кухню, – стучали ножами по столу, резали лук, крошили капусту, готовили угощение добрым людям, пришедшим делать саман для дома, в котором будут жить Женя и его жена.

Ноги у женщин были по самые колени в глине, подола платьев в глине, волосы перевязаны косынками.

Бабы успели загореть, лица у них лоснились, опаленные солнцем и печным жаром..

В своих измазанных платьях с подоткнутыми подолами, крепконогие, туго перевязанные косынками, они были именно бабами. Ирка так и поздоровалась с ними:

– Здравствуйте, бабоньки.

Муля, ничуть не подавленная обилием забот, свалившихся ей на голову, крикнула ей на бегу:

– А мы на вас уже не надеялись.

Вернулась и стала в сотый раз рассказывать, где в саду будет стоять Женин дом, куда окнами, сколько деревьев для него придется вырубить.

– Я наконец от всех вас избавлюсь, – сказала она Ирке. – Сама заживу. Увидишь, какой у меня в доме будет порядок. А то живешь, как в кузне. Грязь, пеленки нестираные. Я ничего плохого про свою невестку не скажу, а неаккуратная.

– Разжигашь, Муля, потихоньку пожарчик, – засмеялась Ирка. – Ни с кем не хочешь Женю делить?

Подошла, будто двумя рубанками строгая пол в кухне – шорг-шорг, – бессмертная Мулина мать, всмотрелась в Ирку, словно из освещенной комнаты в темную:

– Это кто?

Муля отмахнулась от нее, и бабка, недовольно ворча: «Ничего не говорят!» – пошла из кухни. Во дворе она подобрала хворостину и замахнулась на мальчишек, осаждавших глиняную гору:

– Кши, окаянные! Вот искушение.

Бабка кричала и замахивалась так, чтобы все видели ее старание.

– Десять лет у нее работы не было, – сказала Муля, – а тут появилась.

Муля вдруг сорвалась, подбежала к бабке:

– Мама, не гоняйте пацанов! А то я вас к Мите отправлю!

Ирка переглянулась с женщинами:

– Все такая же?

Ей понимающе ответили:

– С утра пораньше всем разгон дает!

– Уж и как саман надо делать, мужиков учила. Цыган лошадей пригнал, лошадьми глину месили, так и его учила. Сама не спит и других на работе загоняет.

Баба Маня сказала:

– Муля не может, чтобы кого-нибудь не долбануть до крови. Женька сегодня ночью умаялся, заснул, а она бегает по двору: и то, мол, не сделано и это, а он спит. «Да чего вам? Они строятся, пусть делают, как хотят». – «Они мне мешают». Она уже не дожидется, когда останется одна. Это у нее мысль такая: «Когда я вас, чертей, поразгоняю! И то у меня будет так, и это...» Энергии в ней молодой много. Я это понимаю, в тридцать четыре года вдова.

Мне дали рабочие залатанные женькины брюки, Ирке отыскивали старое, пахнущее старым, давно не стиранным платье, она переделалась, разулась, подоткнула подол и босыми ногами ступила на горячую землю. Земля была твердой, колючей, обильно усыпанной комочками просохшей, затвердевшей глины, острой крошкой жулици и кирпича, и Ирка пошла, неуверенно покачиваясь, словно пританцовывая. Ее встретили подбадривающими выкриками:

– Давай-давай!

– Смелей ходи!

Молодые парни, Женькины друзья, набрасывавшие вилами саман на носилки, разделись до трусов. Мужики постарше ограничились тем, что сняли рубашки и выше колен подкатали брюки – приличия на улице блюлись по-деревенски.

Многие мужики работали всю ночь – рассыпали глину в толщину штыка, перелопачивали ее, забрасывали соломой, поливали из шланга, протянутого от колонки, смотрели, как цыган, весь синий от наколок, хвастаясь, гонял по глине двух ломовых лошадей. У лошадей – гнедой кобылы и ее двухлетнего сына – развязались длинные хвосты, в хвосты набилась глина, и глиняные колтуны тяжело свисали к самой земле. Лошади уже сделали свою работу, их привязали к забору в тени акации. Они стояли, устало подрагивая кожей. Морды у них тоже были усталыми. Над глазом коника сохла огромная глиняная клякса, глиняными у него были редкие короткие ресницы, волоски на нижней губе.

– Загонял ты коника, – сказала Ирка цыгану, – не жалко?

– Его? – крикнул цыган (он и потом все время кричал, а не говорил). – Он и не работал! Она работала. Мать! Она за него всю ночь работала.

Цыган был пьян. Он был законно пьян. Он сделал свое дело, и теперь его должны были поить водкой. Он всем показывал, что пьян. Сидел на корточках в тени акации рядом со своими лошадьми, забрызганный глиной еще больше, чем его лошади,



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) смуглокожий, худющий, с толстыми мослами коленок, с толстыми мослами локтей и запястий, и кричал на работающих, советовал им что-то, укорял их в том, что они все делают не так.

– А ты носилки не бери, – крикнул он Ирке, – живот надорвешь. Ты бери станок набивать. Станок набивать – бабье дело.

Мужики вообще-то неодобрительно посматривали на цыгана. Им не нравилось его хвастовство, то, что выпил он еще перед работой вчера вечером и потом, во время работы, тоже пил, куражился над лошадьми и притомил их больше, чем нужно. Но им и приятно было смотреть на пьяного цыгана! Цыган сделал свою работу, и то, что теперь он пьян, как раз об этом и свидетельствовало.

Ирка позвала Нинку, и они вдвоем взялись за носилки. Носилки были грубыми, тяжелыми, с толстыми грубыми рукоятками. Мужики набросали саману «с верхом», и Ирка, подняв носилки, «села на ноги». Она сделала несколько торопливых шагов – медленные и не получились бы, – носилки, как маятник, пошли из стороны в сторону, раскачали их с Нинкой. Но Ирка справилась и с носилками, и с болью в ладонях, и с болью в босых ногах, которым камешки и жужелица казались теперь особенно острыми.

Они благополучно донесли саман, вывалили его на землю и под одобрительные шуточки мужиков пошли назад.

Во второй раз им под носилки заботливо подложили кирпичи, чтобы сподручнее было братья за ручки («Малая механизация!» – сострил Жора Сирота).

Они отнесли с десятков носилок, и Ирка почувствовала, что втянулась. Она это почувствовала и потому, что смело и даже с удовольствием ступала в самый замес, в мокрую, скользкую глину, и потому, что боль в ладонях не то чтобы притупилась, а сделалась привычной, и потому, что солнце, под палящие лучи которого полчаса назад, казалось, и ступить невыносимо, – теперь жгло терпимо и даже приятно, мгновенно высушивало пот, стоило лишь на минуту приостановиться.

Но самое главное (она мне потом об этом говорила), Ирка вдруг почувствовала прилив бабьей умиленности перед мужицкой силой, перед мужицким умением все сделать: и саман замесить, и хату поставить, и лошадьми управлять, и где-то там, у себя на заводе, работать. Это была уличная, окраинная бабья умиленность, которую Ирка всегда вытравляла в себе, презирала в Нинке, в своих уличных подругах и которой было много даже у непримиримой и воинственной Мули.

С досаафского аэродрома каждые десять минут поднимались вертолеты. Оглушая, треща пропеллерами, они проходили низко над головами саманщиков.

– Летаете, – сказал Жора Сирота, – вы саман попробуйте! – И подмигнул Ирке.

Я прислушивался к разговору мужиков, грузивших саман на носилки. Это был обыкновенный обмен шуточками, но все же так шутить могли только вот эти мужики, которые и у себя дома, и на производстве все делали своими руками.

– Дядя Федя, – приставал Жора Сирота, подхватывая вилами соломенную притруску с замеса, – какое это сено?

У дяди Феди потревоженное оспой лицо, малоподвижные косящие глаза. Чтобы взглянуть на собеседника, он поворачивается к нему чуть боком.

– А кто его знает!

Дядя Федя явно осторожничает, не хочет ввязываться в разговор, в котором молодой парень собирается побить его своими знаниями.

– Как «кто знает»? – картинно поражается Жора.

– Пшеница теперь переродилась, – неохотно объясняет дядя Федя. – Раньше я легко разбирался. Так раньше можно было разобраться. Была белоколосная, черноколосная. Жито было, пшеница. Гарновка. А теперь? Теперь каждый – агроном. И каждый мудрует. Хотят хлеб переродить. Чтобы и скотину отходами кормить, и чтоб человек ел.

– Так всегда ж так было, – смеется Жора.

– Так, да не так, – угрюмо отвечает дядя Федя. Тяжелый человек дядя Федя, неприветливый. Иной раз с ним поздороваешься, а он не ответит. Не ответит, и все тут. Хату давно еще, сразу после войны, себе строил, не звал соседей на саман. Придет с работы – жил он в землянке, – выкопает яму для замеса, наносит ведрами воды и сделает десятка два глиняных кирпичей. Роста он небольшого, но жилистый, мускулистый. Руки у него утолщаются книзу, к предплечьям, и заканчиваются настоящими лапами-совками – черными, посеченными морщинами и шрамами, не боящимися ни заноз, ни ударов. Все мужики набирают саман вилами – и вилами его брать тяжело! – а дядя Федя широкой лопатой, грабаркой. Когда на лопату налипают глины, он счищает ее ребром ладони.

Ни Мулю, ни Женьку дядя Федя не любит. Мулю за ее непримиримый, неуживчивый нрав, Женьку считает пустым человеком. И все-таки работает у них на самане почти всю ночь и все утро.

Подошел Женька, он подсчитывал готовые кирпичи.

– Восемьсот пятьдесят, – сообщил он и сказал с облегчением: – Половину уже, кажется, сделали.

– Женя, – показала Ирка на вертолет, который медленно – грохот его винта мешал разговаривать – проходил над головой, – не завидно?

– Не-а, – смущенно сказал Женя.

– А ведь ты на самолете летал?

– Летал, Ира.

– И с парашютом прыгал?

– Прыгал.

– А теперь себе дом строишь?

– Хату.

Лицо у Жени усталое. Влез он в это строительство, а работа такая тяжелая. Вот он и отвлекается: то кирпичи пересчитывает, то поднесет саманщикам воды, папиросами угостит. Вроде так и должно быть – хозяин! Но все видят, что он просто устал.

– Половину уже сделали, – говорит Жора Сирота. – Тебе полторы тысячи кирпичей нужно. Дядя Федя, на твой дом сколько саману пошло?

– С пристройкой – полторы тысячи.

– Вот, – говорит Жора. – И тебе пристройка нужна. – И спрашивает Женьку: – Знаешь, какой замес должен быть, чтобы саман получился качественным? Стал ногой на глину – и провалился до самой земли. А у тебя замес густоват. Воды маловато.

– А кто его контролировал? – спрашивает дядя Федя. – Лошадьми месили. Понадеялись на лошадей.

– Лошадь, конечно, умней человека, – серьезно соглашается Жора.

Женя смущенно посмеивается, но не возражает. С ним разговаривают – значит, можно еще постоять, покурить. Его окликает всевидящая Муля, но он раздраженно машет на нее рукой.

– Знаешь, – говорит он Ирке, – Томилин в Италии побывал, в Африке. Механиком плавает.

– Что-нибудь интересное рассказывает?

Женька засмеялся:

– Да как он рассказывает. Пять минут послушаешь – и в сон. Вначале еще слушать можно, потом напрягаешься, а через пять минут – напрягайся не напрягайся – только бу-бу да бу-бу.

Женя ушел, а Ирка мне сказала, что вот Женя и пьет часто, и хамит, и многие люди его только таким и знают, а она не может забыть, каким он в детстве был слабым и мамсиком. Как однажды они пошли на толкучку продавать отцовы туфли – Муля уехала менять одежду на продукты, а им эти туфли оставила на крайний случай, – продали, а на вырученные деньги купили у перекупщика билеты на «Багдадского вора» – так Женька канючил, хотел пойти в кино. И про Нинку Ирка вдруг вспомнила, как Нинке в войну сшили из козьей шкуры пальто, жесткие рукава в этом пальто не сгибались, руки у Нинки торчали в стороны, она ходила, как распятая, а Маня все жалела ее и отдавала ей свою еду.

– И знаешь, что я сейчас подумала? – сказала Ирка. – Глупо и высокомерно, что мы Юрку не назвали именем деда. Глупо и высокомерно.

Часам к четырем по обеим сторонам улицы вытянулись длинные ряды сыро лоснящихся глиняных кирпичей.

– Вот тебе и стены готовы, – сказал Жора Сирота Женьке.

Женщины, готовившие угощение, уже успели умыться. Бабы, набивавшие стайки саманом, пошли мыться во двор, куда Муля и Женька наносили воды. А мужики отправились отмываться прямо под колонку. Туда же цыган повел своих лошадей. Из короткого шланга, натянутого на кран, вода била в лошадиные морды, груди. Вода стекала по лошадиным ногам, по крупу, причесывая, приглаживая короткую блестящую шерсть. В мокрых трусах и майках тут же крутились пацаны, их никто не прогонял.

#### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

За столы сели часам к шести. Столы вытащили из Мулиных и Маниных комнат, раздвинули их. К обеденным столам придвинули кухонные, накрыли их клеенками, а где клеенок не хватило – газетами. Стулья и табуретки принесли от соседей. На столы Муля поставила большие миски с нарезанными помидорами. Помидоры были обильно посыпаны перцем, перемешаны с луком. Помидоров и луку вообще было много. На столе стояли тарелки с целыми помидорами. Яичницу Муля тоже делала с помидорами. Лук и помидоры входили в блюдо из баклажанов – сотэ и в только что приготовленную, еще горячую кабачковую икру.

Из погреба выносили миски со свиным холодным, водочные бутылки с разбавленным спиртом, самогонкой, подкрашенной бражкой, четверти с пивом. Четвертями этими Муля гордилась – в такую жару за пивом в городе очереди. Муля бегала от кухни к столам, извинялась:

– Жара такая, погреб прогрелся, на землю ставила бутылки, а они все равно не холодные, – жаловалась Мане: – Сделала на новой женькиной сковородке сырники, а они не держатся, рассыпаются.

Маня сказала:

– На новой сковородке всегда так. Надо, чтобы сковородка обжарилась.

Рассаживались компаниями. С Женькой сели Толька Гудков, Валька Длинный, Валерка, Жора Сирота.

Женька крикнул:

– Муля, нам твои сырники ни к чему. Нам этого самого побольше.

– Теть Аня, – сказал Гудков, – знаете, как обо мне на работе говорят? Гудков все может, только дайте ему сначала выпить. Пьяный Гудков трех трезвых Гудковых стоит.

– Да уж по этому делу ты профессор, – сказала Муля.

Баба Маня в чистом сером платье сидела за крайним, ближним к хате столом. Рядом с ней в новом платье и красных новых чувяках сидела глухая бабка, Мулина мать. И

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru) платье и чуваки были подарком ее старшего сына, Мулиного брата. Мулин брат много лет живет в Ленинграде, занимает какой-то важный пост, имеет хорошую квартиру. И к важному посту, и к хорошей квартире, и ко всему, что с этим связано, у него давняя привычка: о том, как живет Муля, как живет его мать, глухая бабка, он забыл, и хотя и он, и его жена, с которой он едет на юг, стараются показать, что они ничего не забыли, что здесь они свои, – все видят, что они забыли, что здесь им и слишком шумно, и слишком неопрятно и что они даже немного этим хвастаются. Вежливо скрывают, что они здесь не свои, но так, чтобы все все-таки видели, что они уже не свои, что в своей жизни они добились большего. Мулин брат и рюмку с водкой поднимает первым, и произносит первый тост. Тост он произносит молодцом, как будто всю жизнь участвовал в строительстве таких вот саманных домов.

– Чтоб стены у тебя век стояли, – сказал он Жене. – Чтобы плохого запаха в доме не заводилось.

– Откуда быть дурному запаху? – дурашливо подхватил Жора Сирота. – Саман делали по всем правилам. Замес был густоват, но мы его сейчас водочкой польем – тысячу лет никакого запаха.

А Женя ответил вежливостью на вежливость, поинтересовался, как там двоюродный брат.

– Дядя Петя, – спросил он, – как там ваш Генка?

И дядя Петя ответил:

– Институт закончил. Женился в этом году. Мы ему не советовали, но он женился. Работает на хорошем заводе, специальность хорошая. Квартиру им в будущем году дадут.

– Инженер, значит?

– Да, молодой инженер.

– Привет ему передавайте.

– Спасибо, – сказала дяди Петина жена.

И это «спасибо», и «молодой инженер», и «мы не советовали» – все эти сдержанные слова, которые и произносить надо сдержанным тоном, были как бы маленькой нотацией для Жени. И все это почувствовали.

– Вот, – сказала Ирка, – бывают же у людей дети! А Муля страстно, потаенно любит своего Женю.

Муля устала на Ирку:

– Она всегда думала, что я Женю больше люблю. А они оба недостойны любви. – И тут же обернулась к брату: – Петя, на кого Женюшка похож? Скажи ты – вылитый Николай! Только глаза мои вставлены. И рука! Как сделает своей лапой вот так – Николай!

Муля почти не пила, но, как всегда, когда рядом пили другие, она тоже словно хмелела. В движениях ее появилось что-то лихорадочное, говорила она быстро.

Ирка спросила у Жени:

– Женя, а у тебя уже есть план твоего дворца? Стекланную веранду, где вы по утрам будете кофе пить, ты себе запланировал?

– Да! – сказал Женя. – Будет стеклянная веранда.

– А что говорит Муля?

– Муля против. Она хочет, чтобы был один глухой простенок. Она собирается туда поставить свой кухонный стол. «Я не устану тебе повторять об этом каждый день», – говорит она мне. И я ей верю.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru)  
– Над чем вы смеетесь? – говорит Муля. И обращается к брату. – Покойный Василь Васильевич, – сказала Муля брату, – говорил о Женьке: «Этот будет клоун или палач». А они оба и клоуны, и палачи. Ирка еще похлеще. В университете училась. Василь Васильевич говорил: «Гениальный ребенок». Я ее пальцем трону, а он разойдется на целый день: «Вам не детей, а чертей воспитывать». Правда, что воспитала чертей. Мне теперь внуки дороже, чем дети. И Юрка, и Женькина дочка. Только сейчас у меня настоящие материнские чувства появились...

– Прорезались, – сказала Ирка. – Вот правда, в первый раз материнские чувства прорезались.

– Ирка! – сказал я.

Ирка вздохнула и повернулась к Жоре Сироте. Жора по-мальчишески захмелел. Ирке он сказал:

– Беседку сделаю во дворе. Яблони посажу.

– Лучше сливы или вишни, – сказала Ирка. – Ночью в саду ни слив, ни вишен не видно, а яблоки будут обносить.

– Н-нет, – сказал Жора. – Не будут. Сознательность теперь увеличилась. Ч-честно. Не лазают по садам. И поножовщины меньше. Больше сознательности стало.

Дядя Петя хмелел медленнее других – он почти не работал, не устал: из вежливости ему, гостю, не дали работать, – да и пил он осторожно, но все же он захмелел. По щекам его пошли пятна, глаза – очень похожие на Мулины, но только без Мулиной сумасшедшинки и непримиримости – заблестели. Он охотно смеялся, расстегнул две пуговицы на рубашке, вытирал шею носовым платком. Ему уже нравились и эта грубоватая выпивка после самана, и грубоватая, пахнущая клеенкой закуска, и пиво в четвертях, закутаных в мокрые тряпки, и запах земли во дворе, и запах керосина от керогаза, горевшего в летней кухне.

Ирка сказала:

– Пока не началась беспорядочная пьянка, предлагаю выпить за бабу Маню. Она самая старшая среди нас. Она пережила сто войн и сто правительств. Маня, вы же еще Александра Освободителя застали?

Маня улыбнулась:

– Застала.

– А Николая видели?

– Николая видела. Паршивенький. Мать-государыню видела. И мальчишек его. А девчонок не видела, не стану врать.

Но Александр Освободитель, и Александр III, и Николай вместе с матерью-государыней и детьми заинтересовали лишь на минуту. Кто-то спросил Маню, как выглядел Николай, но ответа слушать не стал.

Да и не в Александрах и Николае было дело. Важно было, что Маня их пережила. Это было понятно всем. И дядя Петя это почувствовал. И я это почувствовал, я осматривал двор, дом, припоминал его таким, каким он был тогда, и все больше и больше чувствовал себя здесь своим. Мне нравилось это чувство – был здесь, в этой хате, на этой улице, своим.

Муля рассказывала дяде Пете что-то о знакомых, родственниках, называла их по именам или прозвищам, как будто дяде Пете достаточно было имени или прозвища, чтобы вспомнить какого-нибудь Ваську Рыжего или Верку Курносую. Он честно старался вспомнить, и если вспоминал, то он перебивал Мулю, припоминая о Рыжем или Курносой подробности, которых Муля не знала.

Рядом с дядей Петей сидела его мать, глухая бабка. Она гордилась своим сыном, гордилась платьем, которое он ей привез, гордилась красными чувками. Рядом с ним она старалась казаться хозяйкой за этим столом, и дядя Петя жалел ее.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– А чего ж у тебя гости не пьют? – спрашивала глухая бабка Муля. – А соль у тебя на столе есть?

Муля досадливо всплескивала руками, призывая всех в свидетели того, что она выносит от своей матери. Кричала:

– Вы уж лучше ешьте и пейте, мама! Вы же любите водочку. Гости не ваша забота.

– Я сыта, сыта, – говорила бабка. – Я мало ем, – объяснила она сыну заискивающе.  
– Крошку возьму – и сыта.

Дядя Петя старался не слушать того, что говорила мать. И то, что она говорила, и ее заискивающий тон коробили его.

– Вот, – всплескивала руками Муля, – за столом она ничего не ест. Она показывает, что она мне не в тягость. А потом пойдет по шкафчикам шарить, будто у родной дочери ворует. Я ей кричу: «Мама, да разве я вам что-нибудь запрещаю?!»

Бабка тревожно приглядывалась к губам дочери. Когда-то глухая бабка по очереди жила у всех своих детей. Год у Мули, год у однорукого Мити, год у Пети, а потом эта очередь поломалась, и бабка стала жить у Мули постоянно. И Петя, и Митя, и Муля, и сама бабка давно к этому привыкли, и вот теперь Муля боялась, чтобы Петя не увидел, что матери тут живет не очень хорошо. Чтобы не получилось так, будто ему намекают – пора наконец забрать мать к себе в Ленинград.

Но Муля волновалась напрасно. Дядя Петя ни о чем таком не думал. Он сказал:

– Пусть ворует бабка, если ей так удобнее. Воруй, бабка! Не дай бог кому прожить такую жизнь, какую она прожила! Пусть хоть теперь живет, как хочет. Что ж ее теперь перевоспитывать? Перевоспитывать ее может прийти в голову только такой сумасшедшей, как моя сестра. Она любит перевоспитывать. А мать с двенадцати лет глухая. Она и не знает, была ли на свете революция. Дал ей когда-то по уху один воспитатель – сиротой она у богатого родственника жила – она и оглохла. А потом другой родственник, наш родитель, взял в жены. Тоже крепкий мужик. Потому и взял, что сирота и глухая. Мол, всю жизнь будет работать и благодарить за то, что благодетельствовал. Вот она и работала. Семерых ему родила.

– Семерых родила, да я шестерых воспитывала, – сказала Муля. – С вами со всеми нянчилась, а теперь на старости лет с ней нянчусь. По-твоему, так я ее жалеть должна. А она меня учиться не пускала. Нянька ей была нужна. А я не хуже тебя училась. Не хуже тебя инженером бы стала.

Дядя Петя немного смутился.

– Да, – сказал он, – училась ты хорошо.

Муля сказала:

– Учебников и тетрадок у меня никогда не было, не покупали мне, а я все так запоминала.

– А почему не покупали? – спросил я.

– Жадные, витя, были. Считали, что ученье мне не нужно. И дом отец строил тогда, отрывал меня на строительство.

«Воруй, бабка!» – повторял я про себя удивительные, чем-то задевшие меня слова. Что-то в этих словах меня потрясло.

А Муля вдруг всполошилась – забыла дать поздравительную телеграмму в Борисоглебск: племянник, сын сестры, сегодня именинник.

– Закрутилась с этим саманом.

Дядя Петя покраснел:

– Разве сегодня день рождения Аркадия?

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Сегодня.

– А мне казалось – в следующем месяце.

Муля побежала в хату и вернулась с маленьким потертым ученическим портфелем в руках.

– У меня здесь все талмуды. – Она выложила на стол какие-то пожелтевшие бумажки, справки, фотографии. Показала дяде Пете Женькин аэроклубовский диплом: – Одни «пятерки», – с гордостью сказала она. – По полетам «пятерка», по теории «пятерка».

Ирка крикнула Жене:

– Женя, не делай вид, что ты не слышишь. Держу пари, там твои локоны и молочные зубы, завернутые в газету.

– У меня никогда не было молочных зубов, – отозвался Женя.

– Женя, хоть покрасней.

– Я краснею только тогда, когда меня обливают красной краской. Суриком.

Муля достала из портфеля ученическую тетрадь в клеточку, раскрыла ее на первой странице. Там был длинный список родственников и знакомых, их адреса и дни рождения. Аркадий отыскался на второй странице тетради.

– Сегодня, – сказала Муля. – Сегодня день его рождения. Я точно помню, что сегодня. Я в июле все дни помню хорошо. В июле Николая убило.

– Муля, – сказала Ирка, – ты хотя бы на сегодня оставила свои ужасные истории.

Муля странно посмотрела на Ирку.

– Мне тогда вещий сон приснился, – сказала она. – Помнишь, Петя, в саду у нас щель была выкопана? Когда начались бомбежки, Николай сам ее вырыл. Вон там, где сейчас жердела. Приснилась мне бомбежка. Огонь, бомбы падают. И будто Николай бежит и хочет через щель перепрыгнуть. Прыгнул, а в это время его взрыв подбросил. Высоко подбросил. Смотрю, а Николай загорелся в воздухе. А на мне синяя жакетка была. Я бегу к нему, на ходу жакетку снимаю – жалко же его, муж! – бегу на него, готовлюсь накрыть жакеткой. А он, как снаряд, летит на меня. Я прыгаю на него, жакеткой охватываю, прижимаю к себе, а раскрыла жакетку – ничего! – И Муля то ли разрыдалась, то ли засмеялась. Секунду нельзя было понять, плачет она или смеется. Потом она закрыла глаза руками, и стало понятно, что она плачет. Но она тут же отняла руки, лицо ее расправилось, стало обычным. – Скажи ты, меня с кровати сбросило! Мама, помните? – обратилась она за подтверждением к бабе Мане.

И баба Маня важно кивнула, как будто сказала: «Врать не буду, сбросило тебя тогда с кровати».

– Мне вчера передали, – сказала Муля, – что приехала женщина, которая в том поезде проводницей была. Она была с теми, кто вытаскивал Николая, видела, как его похоронили. Назначила мне свидание, а я не хочу идти. Боюсь. Я знаю, он сгорел в паровозе. Они его бросили, и он сгорел. Я к этой женщине приходила еще в сорок четвертом. Постучалась к ней. Она открыла дверь, я говорю, я такая-то. А она – раз, и упала. Упала! Соседи сбежались, воды принесли, а мне говорят: «Зайдите потом, сейчас ей нельзя разговаривать. Она контуженная». Я и ушла. Через несколько дней опять пришла, а она уже уехала. С тех пор я ее не видела. А он сгорел, я это чувствую. Сколько мне тогда писем пришло, и во всех по-разному описывается, как он умер. Пишут, не плачьте, мы отомстим. Мстят, аж до сегодня... Они мне просто боятся сказать, как он погиб.

– Он не сгорел, – сказал дядя Петя, опустив глаза в тарелку. – Мне бы врать не стали.

Муля посмотрела на него:

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Но он же оставался в паровозе?

– Нет, он вышел.

– Его вынесли?

– Нет, сам выбрался.

– Ему руку и ногу оторвало, да?

Дядя Петя долго молчал, не поднимал глаз от тарелки, потом кивнул:

– Да. Не сразу. В паровозе руку, а когда выбрался – ногу.

За столами притихли, следили за Мулей. Муля вздохнула:

– Мне тоже так рассказывали.

Она не поверила. Я осторожно посмотрел на Ирку и Женьку – они поверили.

– Нет, – сказала Муля, – я к ней не пойду. Боюсь. – И она заговорила о страшных снах, которые ей снились перед войной и которые, как она потом поняла, предвещали войну.

#### ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Днем на строительстве дома Жене помогает Толька Гудков. У Гудкова отпуск, а Женя после обеда вырывается с работы домой. Гудков подрядился поставить окна и накрыть хату крышей. Толька – ровесник Жени, но сейчас он главный на стройке и потому кажется старше. Он небрит, шея потная. Ругает своего предшественника, плотника, которому Женя заказывал коробки для окон. Разве так коробки делают? Доски прекрасные, а он сбил лудки гвоздями. Надо было делать на шипах! На прямых шипах, поясняет он Жене. Правда, усмехается Толька, тогда перекошенную коробку в стене нельзя было бы выправить. Нужна высокая квалификация, чтобы сделать лудки на шипах. А гвоздями Женька мог бы и сам сбить. Каждый мог бы сбить. И взял он, наверно, за каждую коробку по четыре рубля.

– Сколько ты ему заплатил? – спрашивает он Женьку.

– Четырнадцать рублей.

– За сколько коробок?

Женька смущен и потому отмахивается:

– А я не считал.

– Не считал, – потрясается Толька. – Строитель!

– За девять, что ли...

Толька начинает считать сам. Четыре окна на фасад, два во двор, двери, итальянка на веранду...

– Да, девять. – Он на минуту обескуражен, но тут же улыбается. – Дешево он с тебя взял. Но и сделал дешево.

Подходит Дуся, Женькина жена, приносит кружку воды. На руках у нее дочка. Дочка острижена наголо. Дуся подает кружку Тольке и, покачивая девочку, приговаривает:

– Ах ты, стриженный-бритый. Чешется у нас от жары головка, чешется.

Толька выпивает воду, на лбу у него выступает обильный пот, на небритой щетине – черные капли, ворсинки стружек. Кричит на Женьку:

– Давай-давай! Давай быстрее! Да не забивай ты гвозди в дерево, они же ржавеют.

Пот он вытирает рукавом. Рукав порван на локте. Брюки тоже порваны, сквозь дырки видны колени, виден карман. И все в глине.



Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Идет с ведрами к водопроводной колонке худая жена шофера такси дяди Васи Валя:

- Бог на помощь!
- Сами справимся, – говорит Толька.
- Храбрые! Дом большой. Ты что, Женя, на пятерых еще рассчитываешь?
- На каких пятерых?
- На наследников.
- Обойдусь.
- А дом большой.
- Злые люди завидовать стали.
- Я не завидую. Слава богу, построились уже. Я вот смотрю, жене твоей большие полы мыть придется.
- Было бы что мыть.

Подходит одноногий Генка Никольский, еще подходят соседи. Идут мимо за водой или на трамвайную остановку и обязательно по дороге перекинутся несколькими словами. И все замечают, что лудки сделаны с перекосом – на этой улице все в строительном деле понимают, все недавно сами строились.

– Это Митя, что ли, тебе делал? – спрашивает Женку Генка Никольский, называя имя плотника.

- Митя.
- А чего ж ты Тольке не дал? Толя, ты же столяр?

Толька Гудков наконец дождался своего. Он давно добивался, чтобы кто-нибудь задал ему этот вопрос.

– Я и столяр, и плотник, и дом, будь здоров, сложу. Я вот таких учеников, – показывает он на Женю, – человек десять выучил. – Теперь он еще энергичнее покрикивает на Женю: – Давай-давай! Целый день с тобой тут провозился, а у самого дома дел вот так, – проводит он ребром ладони по горлу. – Да поднимай ты, поднимай! Тяжело, что ли?

Еще подходит сосед, Федя-милиционер. Он тоже недавно построился.

- Женя, а сколько у тебя сантиметров от пола до подоконника? Восемьдесят пять?
- А кто ж его знает.
- Нет, Женя, ты сейчас должен решить. Восемьдесят пять или девяносто. Если под печное отопление, высоты стола довольно. Восемьдесят пять и хватит, а если паровое – до подоконника девяносто.

Меряют. Получается восемьдесят три. Женя машет рукой:

- Мне бы стены до зимы сложить.
- Нет, не говори.

Одноногий Генка догадывается:

- Ниже пол опустишь. Пробьешь в фундаменте углубления и балки опустишь. У тебя какие балки? Сороковка? На складе брал? Значит, тридцать пять – не больше.
- Ладно, – говорит Толька, – опустим ему балки. – Толька напрягается, выпрямляет лудку прямо в стене. Примеривается и вгоняет гвоздь: – Она! – довольно говорит

он.

К четырем часам дня на работу во вторую смену уходит Женькина жена Дуся, а минут через двадцать прибегает с работы Муля.

– Муля, – говорит Женька. – Сегодня ребята придут, пожрать бы им чего-нибудь.

– Сейчас, – говорит Муля и убегает на кухню. Муля недовольна. Раньше строительством руководил Женькин тесть, опытный плотник, но с тех пор, как Женька с ним поругался, не уважил его в чем-то, тесть на строительство ни шагу: «Сами тут без меня справляйтесь». Всю работу ведут ребята, Женькины друзья. Тесть уложил фундамент, а они стены подняли до половины оконных рам. Сегодня Толька Гудков устанавливал лудки. Муля обежала вокруг дома, лудки ей показались установленными косо. Она хотела промолчать, но все-таки сказала, не удержалась:

– А чего ж это лудки стоят косо? Вот здесь надо было вот так. – Она показала рукой. – А здесь потянуть влево.

Она бы еще что-нибудь сказала, но Женька окрысился:

– Вот ждали тебя, Муля! Ты придешь и все нам расскажешь. Без тебя тут дела не было.

Толька Гудков обиделся, стал объяснять:

– Тетя Аня, скажите спасибо, что хоть выправил я вам лудки. Вы ж Мите заказывали, за дешевизной погнались, он вам и сделал на соплях. Такие оконные коробки весь фасад могут искривить, а я вам его исправил.

Муля возилась в кухне и думала: подумаешь, обиделись! Столько денег, труда может пропасть даром, а им замечания нельзя сделать. Хоть бы кто-нибудь постарше пришел, углы завел. Пусть бы ребята клали стены, а углы заводил бы мастер. А то получится, как дядя Вася говорит: «Распить на четверых пол-литра, собраться в кружок, а потом толкнуть стены, а они завалятся».

Конечно, ребята уже по несколько лет работают, чему-то научились, но лучше, если бы ими руководил опытный мужик. Муля не доверяла Женькиным друзьям – все они пьяницы и шалопуты.

Однако, когда приехали на мотоцикле Валька Длинный и Валерка, Муля им сразу же предложила пообедать.

– Да нет, – сказал Длинный усмехаясь. – Не будем обедать. – Длинный лучше других видел Мулино беспокойство и неприязнь. Он сидел на своем «ковровце», как на детском стульчике, ожидал, пока Валерка слезет с заднего седла.

– Вы же только что с работы, – сказала Муля.

– Злее будем, – сказал Длинный и, медленно выпрямившись, перешагнул через мотоцикл.

– А то мы так пообедаем, – сказал Валерка, – что сразу поужинаем и спать ляжем.

Я тоже отказался от обеда. Муля спросила:

– Ну как, вам квартиру дают?

– Обещают.

– Сколько лет обещают!

– Надо, как Женька, – сказал Длинный наставительно, – своей мозолистой рукой. Женька вон на будущий год вселится. Женька, ты когда думаешь вселяться?

– Он об этом и не думает, – сказал Гудков.

– Тут еще работы! – сказал Женька. – Я вот думаю до дождей крышей коробку накрыть, а то размокнет саман.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Размокнет, – охотно согласился Длинный. И предложил: – А ты накрой коробку крышей и продай все это. А деньги на кооперативное строительство.

– Да я уже думал об этом, – сказал Женька.

– Вот зятю своему продай, – сказал Длинный и презрительно усмехнулся.

– Женья, – сказал я, – я тебе тут записку приготовил. На аэродроме есть место, о котором мы с тобой говорили. Пойдешь в понедельник по этому адресу, если захочешь. До понедельника тебя подождут. Не знаю точно, что делать, но, в общем, около самолетов.

– Ладно, – сказал Женья.

– Пойдешь?

– Вот, Витя, с хатой закончу...

– В общем, твое дело.

Мы с Иркой уже несколько раз пытались устроить Женю в техникум, институт, в училище летчиков гражданской авиации. Но все что-то не получалось. То Женья заваливал экзамены после первого же семестра, то оказывалось, что возраст ему уже не позволяет учиться на летчика.

Длинный позвал меня делать замес. Мы принесли воды, насыпали прямо на пешеходную асфальтовую дорожку глины, песку, сделали воронку и стали лить воду, перемешивали глину и песок лопатами. Раствор постепенно становился тяжелым, вязко хлюпал, мокрая глина налипала на лопату. Когда мы оба вспотели, тяжело задышали, Длинный, что-то прикинув, сказал:

– Знаешь, сколько мы заработали? Тридцать копеек на двоих. По твердым расценкам.

– Даром денег не платят.

– Трудно свой хлеб добывал человек, – сказал Длинный.

Он любил цитаты. Они все – и Длинный, и Женька, и Толька Гудков, и Валерка – охотно острили цитатами. Только со временем цитаты у них постарели – сколько лет я знаю этих ребят, а цитаты у них почти не меняются.

Взобравшись на риштовки, Валька срубил несколько длинных веток вишни, мешавших работать.

– Плакала Саша, как лес вырубали, – сказал он.

Ребята работали наверху, на риштовках, клали стены, а я подавал им саман и глиняный раствор. Я был подсобником при мастерах.

Вначале мне даже интересно было кидать вверх тяжелые кирпичи. Брошу точно кирпич – и доволен. Но часа через два у меня гудело все тело. Ребята подбадривают меня.

– А ты, Виктор, за двоих пашешь, – говорит Валерка.

Длинный задумчиво спрашивает:

– Что это саман два часа назад вроде полегче был?

Стены растут, но уже видно, что сегодня работы не закончить. Женька отлучается все чаще и чаще – он первый сдался. Ребята это сразу отмечают, но шутят над Женькой беззлобно. То, что Женька устает раньше других, давно известно. Потом сдается Длинный, спрыгивает с риштовок, садится на саман и закуривает.

– Кончайте, – говорит он. – Темно уже. Запорем стены.

Толька Гудков и Валерка еще минут десять работают и тоже спрыгивают на землю.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Все, – говорит Валерка. – Мне больше всех не нужно.

– И мне, – говорит Гудков. – А надо было бы сегодня кончить. Все равно нам кончать придется. Может, подналяжем?

– Все, – говорит Длинный. – Я – все. – И поднимается, чтобы уж совсем закончить этот разговор. – Иду отмываться.

За ним поднимается Валерка. Гудков еще лезет на рихтовки, что-то подправляет, собирает инструмент. Потом и он спускается на землю, отряхивается и идет к хате.

– Толя, – кричит из кухни Муля, – полотенце и мыло в душе.

– Ладно, – говорит Толька и присаживается на приступки рядом со мной, Длинным и Женькой.

Мы долго сидим покуривая, изредка перебрасываемся словами. Глина сохнет у нас на руках, солома покалывает спину, шею, грудь, но нам не хочется подниматься.

– Иди ты первым, – предлагает Длинный Тольке, и Гудков, крякнув, поднимается.

Толька самый энергичный и выносливый. Моется он долго и шумно. Кричит из душа:

– Вода мировая. За день солнце нагрело.

– Всю воду не сливай, – отзывается Длинный.

– Бак полный, – успокаивает Длинного Муля. – Я с утра наносила.

Гудков возвращается из душа повеселевшим.

– Не горюй, – говорит он Женьке, – в субботу закончим. Тетя Аня, – обращается он к Муле, – в субботу стены закончим.

Муля не отзывается. Она недовольна. Ей кажется, что мы плохо работали. Весь вечер перекуривали, болтали, а дело стояло. Сентябрь кончается, скоро могут пойти дожди, да и денег на угощение нет. Уж у всех соседей занимали-перезанимали, не известно, как отдавать. Хорошо еще, что люди верят в долг, не отказывают. Понимают – строительство. Пока Длинный, Валерка и Женька мылись, Муля накрыла на стол. Валерка сбегал домой, переоделся. Женька тоже надел чистые брюки и рубашку. Переоделись в чистое Гудков и Длинный. Разомлевшие, сонными глазами они посматривали, как Муля ставила на стол селедку, колбасу, помидоры, и лишь когда на столе появились бутылки, они оживились, задвигались, по очереди прикладывали к бутылкам тыльные части кистей – пробовали, холодные ли.

– Холодненькая! – сказал Гудков.

– Прозрачная! – сказал Длинный.

Все захихикали, задвигались.

– Ну, что, алкоголики, – спросил Гудков, – приступим?

– Мне только пиво, – сказал я. Я хотел совсем отказаться от выпивки, но устыдился.

Ребята не стали спорить. Муля налила мне пива, я выпил два стакана подряд и вдруг от усталости осоловел, потянулся к водке. Мне налили, и я выпил, сказал уже с пьяной лихостью:

– Даем сердцу нагрузочку. Работаем на сверхсмертность.

– На какую сверхсмертность? – спросил Длинный.

– Вы что, газет не читаете?

– Ты их пишешь, – сказал Длинный, – ты их и читаешь.

Я объяснил:

– Сегодня в «Известиях» статья какого-то польского профессора. О долголетию. Любопытная статья. Цифры там интересные. Оказывается, во все века женщины жили дольше мужчин. У женщин смертность, а у нас сверхсмертность. Алкоголь, никотин, война.

– Так это мы сейчас на сверхсмертность работаем? – спросил Длинный.

– Гоняем же сердце под перенагрузкой.

– А-а! – сказал Толька. – Он придет с войны, а у него пять ран. Когда-то они дадут себя знать.

– Пей не пей, а если пять ран... – сказал Длинный.

Алкоголь и никотин в качестве причин, сокращающих жизнь, они сразу же отвергли.

– А вообще, – сказал Гудков, – женщины живучие. Мы ходим по квартирам, видим. Бабки в каждом доме есть, а дедов мало.

– Ну, дедов вы просто можете не видеть, – сказал я. – Днем многие деды на работе.

И вот тут Толька сказал:

– Да что там далеко ходить. Поднимите руки, у кого есть отцы.

Он посмотрел на Валерку, на Женьку, на меня, на Ваську Длинного.

Длинный сказал:

– Ты же знаешь, у меня есть.

– Все равно что нет, – ответил Толька. – Он же не с вами живет.

Потом Толька рассказывал мне, как он, Толька, в четырнадцать лет сбежал из дому, изъездил весь Советский Союз. И в Крыму побывал, и на Дальнем Востоке, и на Севере. Работал в тайге, воровал, ездил на поездах зайцем, прыгал на всем ходу с поезда, спасаясь от милиции, контролеров, сидел в лагере.

– Я совсем недавно остепенился. Когда я остепенился? – спросил он у Длинного. – Скажи ему, Валька.

– Да года четыре назад.

– Четыре года назад, – сказал Толька. – Женился и все. Понял? Завязал.

– А чего из дому бегал?

– Жрать нечего было. Шестеро нас у матери. Мал мала. Я средний. Куда ей вытянуть такую ораву!

Потом я рассказывал об Эстонии, о Таллине, в котором мы летом побывали с Ирккой, о том, как строили когда-то эстонские мастера-каменщики, так что до сих пор стоит, как новое. Крепостные стены, башни, дома, поставленные много столетий назад.

– Работать люди умеют, – сказал Толька. – Работали не тят-ляп. Вот и стоит.

В это время меня из-за стола вызвала Муля.

– Витя, – горячо и раздраженно заговорила она, – ты им чего-то рассказываешь, а они тебе в рот смотрят. А человеку завтра к шести часам на работу. И ребенку негде спать. Накурили, глаза залили. Пусть расходятся. Скажи им, ты все-таки постарше.

Семеро в одном доме. Виталий Николаевич Семин [seminvitaly.ru](http://seminvitaly.ru)  
– Всем завтра на работу, Муля, – сказал я.

– Тебе к девяти, а мне к шести, – сказала Муля. – Пусть расходятся. Посидели – и хватит. Человеку завтра на работу.

– Да-да, – сказал я. – Хорошо.

Я вернулся к столу, рассеянно слушал Длинного и Тольку и все думал о том, как Толька попросил, чтобы те, у кого живы отцы, подняли руки, и о том еще, как Муля сказала о себе – человеку завтра на работу...

1965

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://seminvitaly.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!